Алексей Юрьевич Герман, Светлана Игоревна Кармалита

## Торпедоносцы

Если свидеться нам не придется,

Значит, наша такая судьба,

Пусть навеки с тобой остается

Неподвижная личность моя.

(Надпись на фронтовых фотокарточках)

Из диафрагмы – лицо мальчика.

Его глаза смотрят на нас, в наши глаза.

За легким туманом, за ржавыми сопками прилепились к заливу дома, а к домам корабли. На кораблях гоняют пластинки, брешет в поселке собака, звенит пила.

Женский голос зовет кого‑то.

Голос мальчика: «Этих звуков больше нет, никогда не будет. Они улетели в атмосферу, пронеслись дождем, осели в сопках сырыми туманами. Может быть, на всем белом свете их могу услышать один я, мальчик сорок четвертого года».

Трещат на ветру простыни.

За ними дом с высоким крыльцом, дальше за домом – сопка с пятнами снега.

Голос мальчика: «Сейчас распахнется дверь. За дверью темно, но я знаю: за ней две корабельные швабры и ведро из консервной банки. По скрипучей лестнице ко мне выбежит аэродромный пес Долдон, а за ним один за другим, один за другим выйдут люди с чемоданчиками в узкоплечих флотских кителях, регланах и молескиновых куртках, а за ними выйдет мой отец, тоже с чемоданчиком, строго поищет меня глазами. Сейчас я подойду, возьму его за руку, и мы пойдем по улице в новую флотскую баню. Сегодня в бане мы будем сами штопать носки».

Все действительно происходит так, как говорит мальчик.

– Эй, морячило, поддай пару, – просит с полки чей‑то голос. – Эй, командир, плесни!

В веселой белесой мгле банного ада кричат, поют голые счастливые люди.

Скрипит тяжелая, мокрая деревянная дверь. В дверях, в черных сатиновых трусах до колен, стоит Шорин.

– А‑а‑а‑а! – восторженным криком взрывается парная.

– Володя, Шорин!.. А‑а‑а!..

Дверь из толстых досчищ стучит и дергается.

Голос мальчика: «Это дядя Володя рвется из парной обратно. Месяц назад он вернулся после свободной охоты, очень устал. Выпил полетные сто грамм, света на базе не было, присел на минуту на трофейную электрическую печку и нечаянно заснул. В это время на беду включили свет… Дядя Володя четыре дня пробыл в госпитале у доктора Амираджиби.

Доктор ничего никому не говорит, но гвардии капитан Бесшапко клянется, что у дяди Володи на попке навсегда выжглись буквы. А гвардии старший лейтенант Дмитриенко утверждает, что это – бегущий носорог».

На фоне мокрой дощатой двери парной, под крики и смех возникают первые титры.

Титры продолжаются на фотографиях боевой работы морской авиации периода войны на Северном флоте.

Весна 1944 года. Под беспримерными по силе ударами наших войск немцы отходили по всему фронту. Наши войска штурмовали Крым и Одессу, там на юге уже зацвела магнолия, стояли теплые густые туманы, здесь, на севере, проносились снежные заряды, укрывающие конвой, и море было ледяным.

Лица штурманов, летчиков, техников. Фотографии фронтовых корреспондентов. Летчики принимают присягу. Техники готовят самолеты. Экипажи после выполнения боевых заданий. Награждения, вручение гвардейских знамен и лица, лица, лица.

В пять часов утра гвардии старшине Черепцу приснился сон, и он улыбнулся во сне.

В хлеборезке висит его, Черепца, портрет в черной рамке, и его Маруся, такая представительная, такая красивая, такая недотрога, плачет, убивается по нем. Ее утешают, а она тянет руки к портрету и, рыдая, целует фотографию. А он подходит к ней медленно и спокойно, обнимает за плечи и говорит:

– Полный порядок, Маруся, вот он я, как гвоздь!

Черепец проснулся весь во власти счастливого сна. Он еще полежал, вздохнул и свесил голову вниз со своей верхней полки. Воздушный стрелок Пялицын спал внизу, и выражение лица у него во сне было сердитое. В углу кто‑то залился резким кашлем. Черепец сполз вниз, сел на корточки над спящим Пялицыным, наклонился, негромко прокукарекал прямо в ухо и, уставившись на него, стал ждать. В лице Пялицына что‑то дрогнуло, и тогда Черепец громко и очень натурально замычал коровой. Лицо Пялицына разгладилось. Он заулыбался. Матрос из аэродромной команды пронес ведро с углем. Казарма спала.

Черепец натянул ватные штаны, открыл форточку, закурил и пустил струю дыма в холодное утро.

В это же самое утро, чуть позже, гвардии лейтенант Веселаго проснулся и потянул Шуру к себе. Шура открыла глаза, приподняла голову и сказала:

– Ребенок не спит.

Веселаго приподнялся на кровати. Ребенок в большой белой бельевой корзине рядом с кроватью действительно не спал и укоризненно смотрел на отца.

– Давай накроем его платком, – прошептал Веселаго.

Шура вдруг рассердилась и резко села, отчего любимая рубашка у нее под мышкой разорвалась.

– Нет, нет и нет, – отрезала она.

– У тебя сегодня день рождения, – сказал Веселаго.

– Мой день рождения, а не твой, и делай, как лучше мне, а не тебе. Мне лучше, чтобы ты сходил за молоком для ребенка, как Звягинцев, – Шура встала и стала натягивать платье. – Ты же вчера дал слово офицера, что сам сбегаешь за молоком.

Она ушла на кухню.

Веселаго открыл дверь кухни. Плотников и Настя уже встали. Настя жарила оладьи.

Он вызвал Шуру из кухни в коридор и сказал страшным шепотом:

– Вот когда меня собьют, вот тогда я посмотрю…

– Дурак, – сказала Шура. – Какой же большой дурак, ужас один!

В кухне захохотал Плотников.

Внизу загудел автобус.

На лестнице захлопали двери.

К заливу тянулись чайки. Сопки по ту сторону залива стали розоветь. Начинался день, все тот же самый день. Из столовой группами и по одному выходили летчики, штурманы, стрелки‑радисты. Откашливаясь, закуривали. Громко щелкнуло, включился репродуктор.

– С добрым утром, товарищи! – ласково и уверенно сказала диктор Дома флота.

– Хватилась… – сказал Черепец и закашлялся.

У столовой девушки мыли санитарную машину. Офицеры в технических куртках стояли у машины и спорили.

– А вот мне неважно, где бродит бензозаправщик, – говорил один.

– А мне неважно, что у вас один каток, – прокричал другой.

К санитарке подошел Дмитриенко.

– Здравствуйте, сестричка! – сказал он.

– Здравствуйте, товарищ полковник! – ответила девушка, садясь в машину.

– А я – не полковник! Я – капитан!

– А я – не сестричка, я – санитарка! – прокричала девушка из темного салона. Машина тронулась с места. Дмитриенко побежал рядом с машиной, раздумывая, что бы такое сказать, но не надумал и отстал.

– Кони сытые, бьют копытами… – неслось из репродуктора.

Дмитриенко подошел к спортивной площадке, снял ремень, перекинул его через железную трубу и повис на ремне, уцепившись за него зубами.

Пес Долдон пришел от этого в восторг.

– Давай покурим, Сергуня, – сказал Плотникову командир гвардейского минно‑торпедного полка Фоменко и толстыми пальцами потащил из кисета гроздь бледно‑желтого табака. Они сидели и лениво поглядывали, как проезжают по полю тележки‑торпедовозы, как тяжело проехала пожарная машина, прошел строй матросов. На аэродроме загрохотал мотор, еще один и еще. Техники прогревали моторы. Тележка с торпедой проехала совсем близко, тут же съехала в лужу и забуксовала. Огромная торпеда медленно и беспомощно вздрагивала каждый раз, когда торпедисты толкали ее. К тележке, поплевывая, ленивой походочкой подошел Черепец, покачался с пяточки на носочек, пососал конфетку, поинтересовался:

– А чтоб спервоначалу катком пройтись, так на это нам смекалки не хватило?! – он осторожно потрогал большим пальцем возле виска.

Старшины засмеялись. Торпедисты, не отвечая, раскачивали тележку.

– Черепец, подите сюда, – позвал Плотников и несколько секунд молча смотрел в веселое лицо подбегавшего стрелка‑радиста. – Чего вы к ним вяжетесь?

– А зачем они сказали, что у меня билет поддельный, – вдруг затараторил Черепец, точно боясь, что ему не дадут сказать все, – я пришел в Дом флота, а они на моих местах сидят и заявляют – билеты поддельные… В двадцать втором ряду места шестнадцать и семнадцать, а они говорят поддельные, и девушке заявляют: «Извините, но налицо имеется тот факт, что ваш старшина освоил поддельные билеты»…

– А билет был не поддельный? – спросил Плотников и уютно затянулся огромной козьей ножкой.

Черепец слегка побледнел, Фоменко закряхтел и отвернулся.

– Товарищ гвардии майор, – сказал Черепец, – вы меня знаете, и я вас знаю. Разве вы можете подумать, что я делаю поддельные билеты?!

Подошли Веселаго и Шорин.

– Что тут такое? – спросил Веселаго.

– Да вот Черепец подделкой билетов в Дом флота занялся, – сказал Плотников.

Фоменко опять закряхтел, обронил на штанину пепел и стал отряхиваться. Черепец совсем побледнел, голос у него сделался тонким и сердитым.

– Мне вчера дали два билета на постановку в Доме флота, – Черепец повернулся к Веселаго, – была «Собака на сене»… Я пришел вдвоем, а они на моих местах сидят и заявляют: «Извините, но ваш билет поддельный». Рожи во какие наели, только и знают – торпеда на подъем, проверить замок, торпеда готова по‑боевому…

– Что у вас такое? – спросил Бесшапко.

– Да вот Черепец освоил поддельные билеты в Дом флота… – ответил Веселаго.

Глаз у Черепца дернулся, на лбу и на носу выступил пот.

– Отставить, – сказал Фоменко и первый захохотал.

Черепец поморгал и улыбнулся.

– У покойного совсем отсутствовало чувство юмора, – забубнил женским голосом Бесшапко в сложенные рупором ладони, очень похоже имитируя диктора Дома флота, – будучи первоклассным стрелком‑радистом, покойный Черепец все‑таки не мог служить образцом для других старшин…

Дмитриенко все еще висел на зубах. Стараясь не нарушить равновесие, он осторожно поднял руку с часами, мученически скосил один глаз на циферблат, но на самом громком взрыве хохота не выдержал, спрыгнул и побежал к курилке.

Уходили с поля бензозаправщики. Поднимали длинные стволы зенитные орудия, расположенные в гнездах у края аэродрома. Ветер от винтов гнал мелкую рябь по лужам. Ветер был и на заливе, и было видно, как волна бьет в скулу маленький рейсовый катер.

Все шли вроде бы гурьбой, хотя на самом деле подстраивались к Фоменко. Была какая‑то особая игра в том, что тридцатичетырехлетний комполка Фоменко – по возрасту самый старый и солидный здесь и даже на год старше командующего – может ходить вот так, слегка ссутулившись и загребая унтами, и дольше всех кашлять, и дольше сердиться, и курить самую большую козью ножку.

– Несолидно, – кричал Фоменко, – ты это брось, Дмитриенко, зубы портить…

– Я уже четыре минуты запросто вишу, – ослепительно улыбался Дмитриенко, – я этот номер до пяти минут доведу, товарищ гвардии подполковник, и на самодеятельность общефлотскую поеду.

– Нет уж, это ты оставь, – вдруг рассердился Фоменко, – оставь, не позорь полк. Спеть, там, или сказать стих можешь. А это оставь. Что ж ты будешь вот висеть, а музыка в это время вальс будет играть. Так, что ли?! Нет, уж этого позору мне не надо, обойдусь без него.

Прямо через летное поле к стоянке самолетов ехали легковая машина и открытый «виллис».

– Полк, становись! – скомандовал Фоменко.

Из легковой вышли командующий и начальник штаба. Из «виллиса» – начальник связи, начальник метеослужбы, доктор Амираджиби, инженер‑капитан Гаврилов и маленький подполковник Курочкин.

– Смирно! – спокойно, но твердо сказал Фоменко и пошел навстречу командующему. – Товарищ генерал! Гвардейский ордена Боевого Красного Знамени, ордена Суворова второй степени мино‑торпедный полк построен. Командир полка подполковник Фоменко.

– Здравствуйте, товарищи!

– Здравия желаем, товарищ генерал! – дружно ответил полк.

– Построение будет недолгим, – продолжал командующий. – Разведка подтвердила данные о фашистском конвое у берегов Норвегии, так что вчерашний розыгрыш полета и торпедной атаки остаются верными. Работает весь полк. В районе цели прикрытие с воздуха будет обеспечено.

К строю подбежал Бесшапко.

– Товарищ генерал! Разрешите встать в строй!

Генерал посмотрел на часы:

– Вы опоздали на две минуты.

Бесшапко посмотрел на свои часы:

– По моим я прибыл точно.

Генерал:

– Ваши часы можете взять и выбросить.

Бесшапко отстегнул ремешок, размахнулся и швырнул часы далеко в сторону.

В строю зашумели, послышались смешки.

– Разрешите встать в строй? – спросил Бесшапко.

– Становитесь! – разрешил командующий.

– Изменения по связи есть? – обратился генерал к начальнику связи.

Начальник связи:

– Позывные и канал прежние.

– Метео? – спросил генерал.

Начальник метеослужбы:

– По маршруту и в районе цели облачность 6–8 баллов. Видимость до 10 километров. Временами снежные заряды. Ветер на высоте 500–1000 м 260°–310°, скорость 45–60 км/час. К вечеру ожидается ухудшение погоды.

Доктор:

– Больных нет! Жалоб нет.

Начштаба:

– В этот полет с вами пойдут инженер‑капитан Гаврилов и подполковник Курочкин. С какими экипажами – решайте сами.

Фоменко кивнул.

– Взлет через семь минут, – сказал генерал.

К строю неожиданно подъехал аэродромный пикап. В его кузове стояла Серафима Павловна. Шофер понял, что заехал не туда, и попытался дать задний ход, но Серафима застучала ладонью по кабине.

– Куда, куда! – закричала она. И к генералу: – Товарищ генерал, разрешите проехать?

– Проезжайте, – разрешил командующий.

Пикапчик осторожно двинулся мимо строя.

– Товарищи офицеры, кто будет пить какао? А? Есть блинчики. Кто желает с мясом, кто желает с вареньем, – говорила Серафима Павловна.

Большой термос она держала в руках, и лицо у нее было такое, будто она угощает их у себя дома.

Строй тихо улыбался и провожал ее глазами.

– А какое варенье? – спросил Фоменко.

– Абрикосы, – виноватым голосом сказала Серафима.

Фоменко развел руками.

– Знаю, знаю, – сказала Серафима, – всю войну клюквенного ждешь!

Пикап удалялся.

– Выполняйте! – сказал командующий и приложил руку к фуражке.

– По машинам! Разойдись! – скомандовал Фоменко. – Плотников, с тобой пойдет Курочкин, а капитана Гаврилова возьму я. Полетишь со мной? – он хлопнул Гаврилова по плечу.

– Полечу.

Они шли рядом.

– Воспитательница из детского дома пишет – Игорешка мой чуть в бочке не утонул, – сказал Гаврилов. – Хороший мальчик.

– Моряком будет, – рассеянно ответил Фоменко.

Подошли к самолету.

– Товарищ командир! Самолет к вылету готов! – доложил техник. Мимо проходил Дмитриенко. Рот его был забит пирожком.

– Раз, и нет часов. Вот это фокус, – прожевывая, сказал Дмитриенко.

– Можете вдвоем в цирке выступать.

– Два‑бульди‑два, – улыбнулся Фоменко. – Дмитриенко, стой!

– Стою.

– Гаврилов полетит с тобой! – неожиданно решил Фоменко.

Гаврилов хотел что‑то сказать, но Фоменко его подтолкнул и стал надевать парашют.

– Пялицын, – крикнул Плотников, – ознакомьте инженера с пулеметной установкой и парашютом.

Подполковник Курочкин втянул голову в плечи и ловко, как обезьяна, полез в кабину стрелка.

– Вот ваши наушнички СПУ, – сказал ему Пялицын, – здесь обзор хороший, если удачно сойдет, взрыв запросто зафиксируете. Боезапас вот здесь, а я вот здесь, в ногах, сяду. Сейчас парашют принесу.

Фоменко уже сидел в кабине и застегивал шлемофон. Он открыл форточку, посмотрел на небо, потом на землю и скомандовал:

– От винтов!

– Есть от винтов, – ответил механик.

Левый мотор пустил клуб дыма, и винт завертелся.

На КП командующий покрутил ручку телефона и спросил:

– Метео, время!

Трубка что‑то ответила. Генерал посмотрел на свои часы и повернул голову к начальнику штаба:

– А мои часы забарахлили. Бесшапко был прав!

Тихо шипел динамик. Вдруг в нем щелкнуло, и послышался голос Фоменко.

– Клумба, Клумба, я Мак‑1. Разрешите вырулить.

Генерал взял микрофон:

– Мак‑1, я Клумба. Разрешаю.

Фоменко из машины махнул механикам рукой. Те быстро подбежали под плоскости самолета и убрали из‑под шасси колодки. Фоменко прибавил газ, и самолет выкатился из капонира.

Моторы самолета Плотникова уже работали. Ветер от винтов гнал по фюзеляжу тонкие струйки воды.

Плотников прижал рукой ларингофоны и спросил:

– Ну, бойцы, все в порядке?

– В порядке, – тенорком ответил Курочкин и покашлял.

– Пялицыну не жестко?

– Спрашивают, – закричал Курочкин Пялицыну, стараясь перекричать шум моторов, – вам не жестко?

Пялицын замотал головой.

– Нормально, товарищ гвардии майор.

– Штурман, порядок? – опять спросил Плотников.

– Порядок, порядок, – ответил Веселаго.

Большой и толстый, он, как всегда, долго усаживался и располагался со своим хозяйством. Через стеклянную кабину штурмана было видно, как покатил самолет по рулежной дорожке. Стартер махнул флажком. Ударили винты. Машина Фоменко качнулась и, набирая скорость, побежала по летной полосе.

Плотников вырулил на полосу, проверил взглядом удаляющуюся машину командира и запросил КП.

– Клумба, я Мак‑6. На борту все в порядке, разрешите взлет.

Плотников резко засвистел «Синий платочек», медленно отжал газ. Самолет, ускоряя бег, помчался навстречу сопкам, небу.

Под отвесными серыми скалами катились холодные волны Баренцева моря.

Шура Веселаго вынесла корзину с ребенком в коридор на сундук у телефона, покрыла его поверх старой курткой Веселаго, вернулась в комнату и дернула дверь на балкон.

Дверь была заклеена на зиму бумагой, но Шура приспособилась ее открывать. Сразу ветер забегал по комнате, полистал книгу на тумбочке, сорвал узорчатую накидку со швейной машины.

Внизу из парикмахерской вышла Киля, уборщица со шваброй, за ней, в бигудях, Настя Плотникова.

Все вокруг дрожало от рева моторов.

Шура рукой показала Насте, что это не их. Настя, видимо, не поняла.

– Нет, – решительно закричала она Насте, – нет, сегодня без них обойдется.

Самолеты показались из‑за соседнего дома. Строй‑клин был ясно виден. Впереди шел Ил‑4 с блестящими торпедами под брюхом.

Мощно и грозно выли моторы.

– Не обошлось! – вздохнула Шура.

– Какая их машина? – закричала снизу Настя.

– Откуда я знаю, я ничего не знаю!

Гул самолетов растворился в небе. Вернулись исчезнувшие звуки: загудел на заливе рейсовый, заиграло радио. Шура закрыла дверь. Тупо болел живот. Он всегда начинал болеть, когда она боялась.

Она вышла на кухню и стала наливать воду из чайника в грелку.

«Московское время – семь часов утра. По заявке офицера энской авиачасти Сухиничева передаем „Рассвет над Москвой‑рекой“ Мусоргского», – сказал диктор Дома флота.

Одно из зенитных орудий стояло между почтой и парикмахерской. Пушка со всех сторон была обложена мешками с песком и камнями.

У орудия выстроился зенитный расчет. Шли занятия. Зенитчики по команде то надевали противогазы, то снимали.

К почте подъехала полуторка. Из кузова стали сбрасывать мешки с почтой. Открылась дверь кабины, и на снег спрыгнул гвардии старший лейтенант Белобров. Он потер перчаткой лицо и огляделся. С кузова ему подали чемодан и мешок.

Через окно парикмахерской была видна Настя Плотникова. Она смотрела на улицу и раскручивала на голове бигуди.

Ее лицо вдруг оживилось, заулыбалось. Дверь парикмахерской резко открылась, и Настя выскочила на улицу.

– Белобровик вернулся! – сказала она.

Еще издали Белобров увидел Настю и, улыбаясь, шел к ней.

– Белобровик вернулся! – повторила Настя и обняла его за шею. Белобров разжал пальцы: мешок и чемодан упали у ног. Он обнял Настю, приподнял ее и почти внес в парикмахерскую.

– Киля! Саша Белобров вернулся, – крикнула Настя.

Из‑за занавески выглянула уборщица Киля и закивала головой.

– Какое у тебя лицо, Саша?! – огорчилась Настя.

– Это у меня нерв, вот здесь задело, – объяснил Белобров, – то отпустит, то опять зажмет… У меня название на бумажке написано.

– Главное, жив!.. Слава тебе, господи! – сказала Киля.

– В госпитале обещали, что со временем это может пройти. Зато все остальное в порядке, – улыбнулся Белобров, – летать могу. Это главное!

– А наши только‑только полетели, – сказала Настя, – мы с Шурой Веселаго думали, что сегодня без них обойдется… Не обошлось!

Черные динамики потрескивали, похрипывали, казалось, в них кто‑то шепчется.

– Зина! – крикнул командующий. – Чай погорячее не бывает, что ли?

– Бывает! – послышался женский голос, и из‑за перегородки вышла Зина.

– Бреемся, набриваемся, – вдруг раздражился генерал, – все бреемся… Брито‑стрижено, да еще надушено, – и втянул ноздрями воздух. – До чего ж я не люблю, когда командиры духами душатся.

– Это не командиры, – сказал начштаба Зубов. – Это Зина.

Зина поджала тонкие губы и, гремя чайником, ушла за перегородку.

Генерал и Зубов переглянулись.

– Знобит меня, не пойму отчего, – сказал командующий, – водки бы выпить, что ли…

Он зашел за перегородку, налил себе рюмку водки, насыпал перца, понюхал, но пить не стал.

– Есть радиоперехват, – доложил оперативный, – у немцев тревога по всему побережью, – он подал генералу радиограмму.

– Вижу оркестр! Клумба, Клумба, я Ландыш! Вижу оркестр. Вся музыка на месте! Как поняли меня, Клумба?

Командующий повернул к себе микрофон:

– Ландыш, я Клумба, вас понял.

– Клумба! Я Ландыш. Меня услышали. Заиграли флейты, скрипки и… эти самые, как их… ну, всякая ерунда.

– Ландыш! Ландыш! – генерал подул в микрофон. – Ландыш, я Клумба, уходи на галерку. Жди Левкой. Как понял?

– Клумба, я Ландыш, вас понял.

Аэродром лежал перед КП – пустой, голый и стылый.

У самого КП стояли пожарная и санитарная машины. К ним деловито бежал через летную полосу ярко‑желтый Долдон.

– Клумба, Клумба, я Левкой, я Левкой, оркестр вижу, выхожу на тропу.

– Вас понял, Левкой, я Клумба.

– Штурмовая пошла, – закричал оперативный за перегородкой.

– На тропе, – сказал еще один голос из репродуктора. И другой голос скомандовал: – Левкой! Бей во все колокола.

– В ажуре, – крикнул Зубов, – в ажуре!

Радист переключил тумблер рации, и сразу послышалось:

– Норд‑финф, норд‑финф, цвельфте, цвельфте, фирценте, фирценте, норд‑финф…

– Ахтунг, ахтунг, руссише флюгцойге, линкс, линкс!

– Клумба, Клумба, я Ландыш. Появились гости.

– Сергей Иванович, прикрой меня, Сергей Иванович, не зевай, прикрой мне хвост, говорю тебе.

– Саша, сверху «мессер», бери верхнего, я оттяну нижнего.

– Сергей Иванович, елки‑моталки, не зевай!

– Клумба, я – Ландыш. Подходят Маки. Вы слышите меня, Клумба?

– Ландыш, вас слышу, вас понял, спасибо. Клумба! Я Мак‑1, прием, – раздался спокойный голос Фоменко.

– Мак‑1, я Клумба.

– Клумба, я Мак‑1. Оркестр играет, как ему и положено. Начинаем работать, как поняли?

– Мак‑1, я – Клумба, вас понял!

– В ажуре, в ажуре, – сказал Зубов.

Он резко встал, толкнув при этом стол, и уронил стакан на пол.

– К счастью, к счастью, – сказал командующий.

– Маки, я – Мак‑1. Работаем! Разошлись по местам.

По полю проехал грузовик, груженный лопатами. Мухин, шофер командующего, мыл горячей, парящей на ветру водой, машину.

Конвой ставил вокруг транспортов дымовую завесу, но дым относило в сторону. Белые клубы его неслись по воде. Вели огонь все калибры. Самолеты с разных сторон заходили в атаку. Тральщик уже горел. Машина Фоменко, выполняя противозенитный маневр, снизилась над водой.

– Штурман, второй в ордере наш, идет? – спросил Фоменко.

– Идет, – ответил штурман.

– Атака! – крикнул Фоменко.

Он повернул самолет и направил его на транспорт.

– На боевом! – сказал он.

– Есть на боевом! – ответил штурман, не отрываясь от прицела.

Корабли противника били без устали. Со всех сторон вокруг самолета «вспыхивали» разрывы.

– Два вправо, – сказал штурман, – еще вправо.

– Хорошо!

Борт корабля стремительно приближался.

Снаряд разорвался перед Фоменко. Самолет тряхнуло, и все сразу вспыхнуло.

– Горим, штурман! – сказал Фоменко.

– Чуть вправо, чуть‑чуть! – штурман не отрывался от прицела.

Пламя ударило Фоменко в лицо.

– Сбрасывать нет смысла! – сказал он.

– Доверни еще! – попросил штурман.

– Прощай, друг! – сказал Фоменко и дал сектор газа вперед до упора.

От копоти и дыма он задохнулся, закашлялся и так кашлял до последнего мгновения своей жизни.

Пылающий самолет с огромной скоростью ударил транспорт. И судно в десять тысяч тонн тут же распалось на две половины.

Разрывались снаряды, ревели моторы, отрывались торпеды. Шел бой.

Корабли ощетинились белой шипящей стеной огня. Самолет Плотникова маневрировал среди разрывов.

– Чуть влево, Сергуня, – сказал Веселаго. – Вот так, так держать! Боевой!

– Есть боевой! – сказал Плотников.

Инженер Курочкин ежесекундно протирал очки и вертел головой. Вдруг он увидел, как с левой плоскости стекал и разбрызгивался бензин.

– Командир, бензин течет, – закричал Курочкин.

– На бо‑е‑вом! – упрямо отрезал Плотников.

– До цели семьсот метров, – сказал Веселаго, – пятьсот… – он нажал кнопку.

– Торпеда приводнилась! – доложил Веселаго.

– Торпеда пошла, – закричал Курочкин.

Оставляя за собой пенистый след, торпеда стремительно неслась на корабль. Плотников бросил самолет в сторону. Горела левая плоскость, и лопасти мотора висели беспомощно.

– Я – Мак‑6, я – Мак‑6, – повторял Плотников, но радио не работало.

Над морем заходил снежный заряд. Он накрыл пеленой снега горящие корабли, воду и небо.

Плотников хотел обойти заряд, но самолет слушался плохо, и машина скрылась в снежном вихре.

На КП, в углу за перегородкой, плакала подавальщица Зина. По радио было слышно, как заходили на посадку самолеты.

– Клумба, я – Мак‑3, прошу посадки.

– Мак‑3 на прямой, шасси выпустил.

– Клумба, я Мак‑2, разрешите посадку с ходу.

– Мак‑2, я – Клумба, разрешаю.

Валил густой снег, заряд с моря пришел сюда. Плохо видимые за снежной пеленой, садились тяжелые торпедоносцы.

Мешок и чемодан Белобров поставил в кладовку за вешалкой. Серафима расцеловала Белоброва, и он вошел в столовую.

В столовой столы были накрыты, но кроме Белоброва никого не было. Он сидел и жевал винегрет. Гурьбой вошли истребители.

– Я его на правом завалил, – кричал маленький, с агатовыми калмыцкими глазками Сафарычев, – он на левом исключительно хорошо уходит, а на правом нехорошо уходит… Его надо затащить в правый, и тогда можно доказать до конца…

Столовая заполнялась летчиками, штурманами, радистами… Белоброву были рады, он знал это. Но сегодня был такой день, и все были сдержанны.

В зал вошли Дмитриенко и Гаврилов. Дмитриенко сразу увидел Белоброва и направился к нему.

– Саша, – вяло обрадовался Дмитриенко.

– Фоменко погиб? – перебил его Белобров.

– Да, погиб.

– И Плотников погиб?

– Погиб. Голова очень болит, – сказал Дмитриенко и сел за стол, – трос у меня перебило… Голова болит, очень сильно голова болит… Папиросы привез?

– Не привез, – сказал Белобров, – воротнички привез, целлулоидные.

– Я должен был лететь с Фоменко, – неожиданно сказал Гаврилов и замолчал.

– Почему не привез? – вдруг крикнул Дмитриенко. – Ты же обещал папирос… Свинство какое‑то! У меня перебило трос, мне никто не привез папирос… Художественный стих… – встал из‑за стола и вышел из столовой.

В раздевалке Дмитриенко, стоя перед зеркалом, долго, пристально смотрел на свое лицо, медленно застегивая пуговицы на реглане.

Ветер с залива стих, снег медленно валил с неба, стрелок у шлагбаума раскатал дорожку и катался по ней, рядом стояла лошадка, вся в снегу. Белобров нагнулся и прошел под шлагбаумом.

– Гулять, товарищ гвардии старший лейтенант? – спросил стрелок.

– Да, вроде бы… – ответил Белобров.

Сразу за шлагбаумом его догнал Гаврилов, и они пошли вместе.

– Игорешка у меня в детдоме отыскался, слыхал?

Гаврилов был маленький, плотный и никак не мог попасть в ногу с широко шагающим Белобровом.

– А про Лялю ничего не слыхать?

– Нет, ничего не слыхать… – Гаврилов вздохнул и зачем‑то поправил на Белоброве белое шелковое кашне.

Они еще долго шли и замерзли, когда из‑за поворота показались фары. Они подняли руки и тут же опустили их, узнав большой «ЗИС» командующего. Но машина резко затормозила, проехав юзом, командующий открыл дверцу.

– Мухин, пересядь, – сказал командующий.

Сонливый Мухин страстно любил летчиков и терпеть не мог, когда командующий сам садился за руль. Это знали все. Поэтому он одновременно заулыбался Белоброву и тут же негодующе засопел, пересаживаясь назад.

Командующий сразу выжал акселератор, машина рванулась вперед, уютно заскрипели дворники. На полном ходу они влетели на сопку, командующий переложил руль и, не сбавляя газа, повел машину вниз к мосту. Отсюда сверху широко расстилался черный залив.

– Гудочек дайте, товарищ командующий… Гудочек посильнее… – заныл сзади Мухин, вытирая пот рукой. – Тормозочки у нас…

– Если убьемся, то вместе, – сказал командующий и гудка не дал.

Проехали второй шлагбаум. Краснофлотец в валенках взял на караул. Командующий тоже приложил руку к козырьку.

– Я слышал, будто у вас что‑то вроде паралича лица? Вы как считаете сами про свое самочувствие?.. Можете работать?

– Хорошо могу работать, – сказал Белобров.

– Да‑да, – сказал командующий, думая о чем‑то другом, – так‑так…

У домов гарнизона, на раскатанном снегу играли дети, окна парикмахерской были заметены снегом. Командующий молчал, и все молчали тоже. Мухин сзади завозился и покашлял.

– Все у нас теперь есть, – неожиданно сказал командующий, – театр есть, парикмахерскую открыли. Казалось, живи и радуйся, а счастья все нет и нет, – командующий говорил с тоской, и было понятно, что он вспоминает о двух погибших экипажах.

Он перегнулся и открыл Белоброву и Гаврилову дверцу.

– Ну, добро, – и сухо приложил руку к козырьку.

По перилам навстречу им спустился мальчик в вязаном английском шлеме.

Они закурили и стали медленно подниматься.

– Уся, ужина‑а‑а‑ать, – позвал женский голос.

На площадке у пятой квартиры они постояли. Сердце Белоброва забилось сильнее.

– Может быть, вернуться? – спросил он, не глядя на Гаврилова, и постучал кулаком так громко и сильно, что уйти им теперь было невозможно.

Дверь тотчас открыли, и он увидел Шуру. Она стояла в ярко освещенном коридоре с тарелками в руках, а сзади, улыбаясь и радуясь, шла Настя Плотникова. Он закрыл за собой дверь и сделал два шага вперед, стараясь весело улыбаться, чувствуя, как в плечо ему дышит Гаврилов…

– Белобровик, – сказала Шура, – и еще вырос. Ты откуда, Белобровик?.. Да дверь‑то зачем закрываешь?

– То есть как это зачем? Затем, что зима… В окно посмотри…

В лице что‑то дернулось, и она стала смотреть на него неподвижно, тарелки в руках задребезжали, она поставила их на сундук и сложила руки на груди.

– Говори, – велела она.

Он не мог смотреть на нее и посмотрел дальше, но там была Настя с круглыми, словно потухшими глазами и невероятно белым лицом. Ему некуда стало девать взгляд, некуда смотреть.

– Слушаете, позвольте хоть раздеться, просто невежливо.

Они ничего не ответили. И Белобров начал раздеваться в абсолютной тишине. Торопливо раздевался и Гаврилов.

Настя подошла ближе и встала рядом с Шурой.

– Не вернулись, – сказала она.

– Задержались, – сказал Белобров, – да ничего не случилось, – крикнул он, видя, как у Шуры исказилось лицо. – Ты погоди, все нормально, слышишь, нормально. Они сели, и я говорю тебе, все нормально… Настя, хоть вы ей скажите… Настя, они, понимаете, задание выполняли героически. Выполнили, и все у них прекрасно было, но потом… – он говорил, ничего не понимая, что говорит, не слыша собственных слов, говорил просто в передней, никуда не глядя и ничего не видя…

– Не вернулись, – опять сказала Шура.

– Не вернулись, – одними губами повторила за ней Настя и быстро забегала по коридору, – не вернулись, Сережа мой не вернулся, не вернулся…

В дверь осторожно протиснулся истребитель Сафарычев. Он жил в этом доме на втором этаже.

– Что, все уже известно? – спросил он, и опять стало тихо в коридоре, только хрустела пальцами Шура да часто открытым ртом дышала Настя. Негромко подвывала электрическая печь в комнате, на кухне текла вода.

Мария Николаевна, мать Шуры, надела круглые очки и строго поглядела на Белоброва. По всему видно было, что она плохо соображает и не понимает тяжести случившегося.

– Пойдемте в комнату, – сказала Шура.

Она пошла вперед и села в качалку. Качалка качнулась. Шура сильно оттолкнулась носком туфли и стала качаться, закрыв глаза. Настя ушла на кухню, закрылась там на крючок и сильно пустила воду из крана.

– Шура, – сказала Мария Николаевна, – Шурочка….

Шура не ответила, все качалась…

– Я не совсем понимаю, что случилось, – заговорила Мария Николаевна, все так же строго глядя на Белоброва. – Самолет не вернулся, так?

– Ну, примерно так, – не глядя на нее, почти грубо, ответил Белобров.

– Но они живы? Просто самолет сломался? Или с ними что‑то случилось? – и вдруг она из‑под своих круглых очков сердито подмигнула Белоброву раз и другой.

Было слышно, как внизу подъехал автобус, хлопнули двери, заговорили голоса.

Настя была на кухне, Сафарычев осторожно дергал дверь и тихо стучал в нее согнутым пальцем.

– Настя, откройте, это я – Сафарычев. Настя, слышите? – спросил он.

Шура все качалась. Свет от лампы то падал на лицо, то исчезал.

Внезапно вдруг что‑то оборвалось в слабой голове Марии Николаевны, она всплеснула руками и, точно разом все поняв, закричала тонко и громко, закричала еще раз и стихла, припав к Шуре старым иссохшим телом, вздрагивая, шепча что‑то и захлебываясь слезами.

В прихожей зазвонил телефон, и Шура, отстранив мать, встала и, криво ступая, пошла к телефону. Но звонили по ошибке.

– Она у меня может ногой почти до самого уха достать, – сказал гвардии старшина Артюхов. – А ты вот попробуй, чтоб твоя Маруся достала до своего уха ножищей‑то, а я погляжу.

Было совсем темно, снег перестал, и все таяло. Повсюду капало, текло, чавкало. Черепец с Артюховым стояли позади столовой у склада и поглядывали на окна. Там на кухне горели синие лампочки, и снег на подоконнике был синий.

– Пойдем лучше ко мне треску в масле кушать, – сказал Артюхов, – а я тебе буду рассказывать…

Черепец только вздохнул и никуда идти не собирался. Артюхов затоптал папироску и тоже вздохнул. У их ног крутился и ласкался Долдон.

– Женщины уважают силу и власть, а ты, ну, ей‑богу, как Долдон, бегаешь и нюхаешь.

– Ладно, – обиделся Черепец и поежился под сырым ветром, – не хочешь гулять, вали отсюда, – повернулся и, не оборачиваясь, пошел к заливу, черному из‑за белых берегов.

У мостков стояла аэродромная лошадь с телегой.

В землянках топили печи, радио рассказывало шахматную партию. Вниз к заливу и причалу уходили крутые деревянные ступеньки с перилами, рядом с ними матросы уже раскатали дорожку. Внизу терся о причал ботишко с военно‑морским флагом. Сперва Черепец увидел начальника кухни младшего лейтенанта административной службы Неделькина и двух краснофлотцев из хозвзвода. Здесь их звали «туберкулезниками».

Неделькин стоял наверху в очень красивой позе и курил трубочку, а «туберкулезники» на полусогнутых тащили по трапу на берег здоровенный голубой ящик с маргарином. Ящик угрожающе покачивался.

– Утопят! – радостно сказал Черепец младшему лейтенанту. – Сейчас утопят!..

– Бетховен, – объявил диктор на берегу. – «Застольная».

В эту секунду Черепец увидел Марусю. Она стояла на ботишке в своем темном мешковатом пальто.

– Я ее жду у кухни, когда понятно же, что Маруся, скорее всего, на разгрузке маргарина и яичного порошка, – сказал он, обращаясь к Неделькину.

Присутствие Маруси в корне меняло дело. Черепец сунул кулаки в карманы бушлата, надвинул фуражку, крикнул «от винта» и, свистнув, покатил вниз по раскатанной рядом со сходнями дорожке. Холодный ветер с залива сразу ударил в лицо, скоростенка получалась порядочная. В следующую секунду Черепец увидел прямо перед собой на накатанной дорожке толщенный ржавый обруч от бочки.

– Все, – успел подумать Черепец.

Спружинив сильное тело, он подпрыгнул, но перепрыгнуть обруч не смог и, волоча его на одной ноге за собой, вылетел на причал и сбил «туберкулезника». Голубой ящик качнулся и рухнул в воду.

– «Налей, налей, бокалы полней», – пело радио.

– Здравия желаю, – ужасаясь сам себе, сказал Черепец и снял с ноги обруч. – Интересно, какая собака тут обручи разбрасывает. – И зачем‑то показал обруч Марусе.

Высоко поднимая колени, по ступенькам вниз бежал Неделькин.

Маруся смотрела на него, скорбно подняв брови.

– Лебедочкой надо было зацепить… – сказал Черепец «туберкулезникам». – Чем мучаться‑то… Тут траловая лебедочка есть… Зачем тогда техника дается, если вы не умеете ее полностью использовать?!

И, отцепив от борта багор, он, сев на корточки, погнал ящик с маргарином к берегу.

– Какая лебедочка?! – взревел прибежавший Неделькин. – Вредитель! Вы ВВС позорите! Как ваша фамилия? Я вас арестую, слышите, эй, вы, вредитель!.. – кричал он, размахивая трубочкой.

На голубом ящике голубая корова печально глядела на Черепца. Рядом с ним остановились крепкие полные Марусины ноги и низ старого бесформенного пальто.

«Пальто ей сошью, – вдруг с необыкновенной ясностью понял Черепец, – черное суконное с меховым воротником». И он представил Марусю в этом пальто.

– Попрошу не улыбаться и встать, когда к вам обращается старший по званию, – сухо сказал Неделькин и засопел потухшей трубкой. – Как ваша фамилия, старшина?

– Черепец, – сказал, поднимаясь, Черепец и опять улыбнулся.

Сегодняшний необыкновенно длинный день вместил выписку из госпиталя, Варю, возвращение в полк, гибель дорогих и милых друзей. Белобров устал и, уже спускаясь по темной улице к почте, подумал, что он так и не удосужился спросить пароль и, не дай бог, может напороться на патруль. И тут же из‑за угла вывернулись старшина и краснофлотец с автоматом.

– Пароль? – спросил старшина.

Белобров развел руками.

– Ваши документы? – потребовал старшина.

– Вот предписание, – сказал Белобров. – Видишь, здесь штемпель госпиталя? Ты глаза‑то разуй.

– Пройдемте, товарищ старший лейтенант, – вежливо, но твердо сказал старшина.

Белобров сплюнул, и они пошли. Из‑за затемнения дома стояли черные, снег таял. Где‑то была открыта форточка, там негромко разговаривали.

– Слушай!.. – вдруг обозлился Белобров. – Ты понимаешь, что я сегодня из госпиталя?!

– Надо слово знать, – сказал старшина. – Время военное, мало ли кто лазает… Пропуска нет, слово не знаете…

– Слово «мушка», – отступил Белобров.

– Нет.

– Слово «самолет».

– Нет.

– Танк. Курица. Петарда. Клотик. Победа. Тьфу! Ты зверь или человек?! В каменном веке такие, как ты, жили…

– Оскорбляйте, оскорбляйте, – сказал старшина, – один тоже такой попался, до морды хотел достать, достал пять суток. Сюда попрошу…

У синего деревянного домика комендатуры краснофлотцы с «губы» убирали улицу.

Дежурный комендант сидел на перилах крылечка.

– Кури, – сказал Белобров, протягивая коменданту документ и папиросы.

Комендант закурил.

Белобров протянул папиросы и старшине.

– Не надо, – сказал тот. – Сначала оскорбляете… У нас тоже самолюбие имеется. «Гориллой» называл…

– Какой гориллой, – заревел Белобров.

– Из каменного века, – не сдался старшина. – Что, не говорили?!

– Гад же ты! – сказал Белобров, понимая, что садится. – Я же из госпиталя сегодня…

– Ясно, – сказал комендант специальным комендантским голосом, розовое его лицо сделалось неприступным. – Придется задержаться до утра. У нас там скамеечки. Курить не разрешается.

В тесной комендатуре жарко топилась печь. Белобров снял реглан, положил под голову, с наслаждением вытянулся на деревянной скамейке.

Дверца печки была открыта, огонь плясал на потолке. День закончился. Он был дома.

– На этом Дом флота заканчивает свои передачи, – сказал женский голос. – Спокойной ночи, товарищи.

– Будь здорова, подруга, – сказал с соседней скамейки чей‑то сонный голос.

Радио выключилось, застучал метроном.

Хроникальные фотографии боевой работы морской авиации периода войны, дающие представление о масштабах наших побед в последующий месяц. Последние фотографии – освобождение нашими войсками Севастополя. Атакующая морская пехота, темный обгорелый город, летнее и ленивое море в дожде и краснофлотец при знамени на горе.

По утрам небо здесь было по‑прежнему светлое, прозрачное и казалось ледяным.

Белобров держал инженера под руку, и они шли, как два штатских человека, ноги у обоих разъезжались, и Белоброву было смешно. Гаврилов тащил на плече тяжелый мешок, в мешке лязгали инструменты.

– Игорешка завтра приезжает, – сказал Гаврилов, поморгал глазами и зачем‑то понюхал телеграмму, – вот жизнь, а, Саша?!

Попыхивая густым на утреннем морозе дымком, выходил на поле каток. У столовой мыли горячей водой «санитарку». Рядом вертелся Дмитриенко.

– С праздником, сестричка!

– И вас, товарищ полковник! – ответил нежный голос.

В тишине их голоса были слышны близко, будто рядом.

– Я – не полковник, я – гвардии капитан… хо‑хо‑хо!

– А я – не сестричка, я – санитарка, ха‑ха‑ха!

– С праздником вас, товарищи офицеры! Какао и пончики.

Белоброва и Гаврилова догнал «пикап», рядом с Серафимой ехал и жевал пончик лейтенант Семочкин из истребительного. Гаврилов с удовольствием забросил в «пикап» мешок.

– Мне принципиально важно, – сказал Семочкин, – нормальный «юнкере»… Никакой экранированной брони… Я ему даю… Как я ему даю, я еще ни разу в жизни так не давал… А он летит… Отскакивают от него снаряды…

– Семочкин, этого не бывает…

– Ну, не отскакивают, – грустно согласился Семочкин, и было видно, что он рассказывает не первый и не десятый раз. – Это я так, просто гиперболу применил. Но если я ему с тридцати метров давал…

Он соскочил с «пикапа» и проехался по замерзшей луже.

– А он не задымил и не рухнул, объятый черным пламенем?..

– Не задымил, собака, – согласился Семочкин.

– Видишь, какой ты гусь, – сказал Белобров. – Ты, Семочкин, не просто гусь, ты гусь‑писатель… Это надо поискать еще такого гуся, чтоб заслуженных, прямо сказать, товарищей посылали разбирать твой рапорт… – Белоброву было приятно говорить это слово «гусь», и он своим сильным плечом так толкнул Гаврилова, что тот перелетел через канавку.

– Летим туда, не зная куда, – сказал Гаврилов, – искать того, не зная чего… – и толкнул в ответ Белоброва так, что тот облился какао.

Так они шли и толкали друг друга. Рыжий Семочкин шел рядом, ему тоже хотелось, чтоб его толкнули, но его нарочно не толкали, и он огорчался. Они шли мимо капониров, механики возились у самолетов. Проехал бомбовоз.

– В общем, я ставлю пластинку, – Артюхов сбавил шаг винта, – ставлю пластинку и ухожу, вроде мне перевод перевести… А вы вроде меня ждете…

– Подумать надо, – Черепец и Артюхов сидели в Р‑5, ждали Белоброва и Гаврилова, – и не пойдет она, она не такая.

– Надо добиться, – посоветовал Артюхов, – сорвешь поцелуй, все пойдет, покатится. Тут вступает в силу влечение полов… И целовать надо с прикусом и длительно, покуда дыхалки хватит…

– Она не такая, – опять угрюмо сказал Черепец.

– Что ж, у нее и мест этих нет, – рассердился Артюхов, – и детей она рожать не будет… Ты гляди, там Осовец крутится…

По полю к самолету топали, дожевывая пончики, Гаврилов и Белобров. Семочкин услужливо нес за ними мешок. Выезжала пожарка.

– Вон твой командир идет, – сказал Артюхов и, убрав обороты, выключил двигатель.

– Ладно, – сказал Черепец, – поезд отправляется, пишите письма…

Они вышли из самолета, и Артюхов доложил Белоброву о готовности машины к полету.

У самолета затормозил «виллис» начальника штаба.

– Белобров! – позвал Зубов.

Белобров, прокатившись по замерзшей луже, подбежал к машине.

– Слушай, Белобров! – начал Зубов. – Немец немцем, а все же еще раз пройди вдоль берега и внимательно посмотри… Погода хорошая… Ты знаешь, о ком говорю.

– Знаю! Об экипаже Плотникова.

– Ну добро! – Зубов отдал честь, и машина, дав задний ход, круто развернулась.

Белобров вел машину почти впритирку над сопками, и под брюхом машины проползали печальные камни с налипшими пластами мерзлого снега.

– Страна Норвегия, – сказал Гаврилов. – Говорят, здесь девушки красивые… Сольвейг…

Белобров свистел про телеграмму. Мотива он не помнил, помнил припев, его и свистел.

– В бухте Кислой кита выбросило, – сказал Гаврилов, – здоровенный китище…

– Да ну, – удивился Черепец. – Интересно, чего они на берег выпрыгивают…

– Он маргарину накушался, – сказал Белобров, – и его с этого маргарину травило сильно… Вот… Так что он сам решил порвать связи с жизнью…

– Ага, – подхватил Гаврилов, они беседовали, вроде бы минуя Черепца, – он, когда с жизнью прощался…

– Кто?

– Кит. Очень сильно рыдал и все просил какую‑то Марусю показать… через которую невинно гибнет…

Брови у Черепца скорбно поднялись домиком.

– Товарищ гвардии старший лейтенант, – начал он официально.

– Да я что? – сказал Белобров. – Вот кита жалко…

И захохотал так, что машина дернулась и клюнула носом.

Они долго молчали.

– Приехали, станция, – сказал вдруг Белобров и резко положил машину в вираж.

И тотчас же перед ними стеной встало овальное озеро и на этой ледяной стене прилепившийся темный распластанный силуэт высотного немецкого бомбардировщика Ю‑290.

– Попробую сесть, – сказал Белобров.

Мотор перешел на другие обороты, и вдруг стало тихо и пусто. Длинная, привалившаяся на хвост машина чернела метрах в пятидесяти на матовом снегу.

Первым на лед озера вышел Черепец с гранатой. За ним, покрякивая, спустился Гаврилов с инструментом.

– Если будет шум, бросаешь гранату, – сказал Белобров и спрыгнул сам.

Они стояли около немецкого бомбардировщика. Кабина штурмана была «в гармошку», с кабины пилота был лишь сорван фонарь, и немец‑пилот сидел в ней, пристегнутый ремнями. Его руки лежали на штурвале, голова с наушниками, лицо, плечи – все было запорошено снегом. Он был мертв.

– Это тот, которого Семочкин гонял… Вот он ему в ноздрю попал… И вот… – Черепец показывал пробоины в самолете. – Чего только он летел, не понимаю.

Белобров смотрел на немецкого пилота. Он воевал всю войну, а вот так, близко, видел врага первый раз. Белобров снял перчатку и провел пальцем по занесенному снегом лицу летчика. Палец оставил след. Белобров стряхнул снег с пальца и протер руки снегом.

– Хорошо бы посмотреть, – сказал Черепец, – может, у него орден есть.

Гаврилов закончил осмотр самолета и подошел к Белоброву.

– Надо осмотреть кабину, – сказал он. – Черепец, помоги вытащить летчика.

– Мне мертвеца трогать противно, – заверещал Черепец.

– У кого есть нож? – спросил Белобров.

– Есть. Для вас у меня все есть… Нет такой вещи, чтоб у Черепца не было… – Черепец подал Белоброву нож.

Белобров перерезал ремни и вместе с Гавриловым вытащил пилота. Гаврилов полез в кабину.

– Так, так, – бормотал он. – Так и есть. Автопилот.

– У него автопилот стоит, вот какая штука. Их Семочкин сразу убил… А самолет на автопилоте пер… – Гаврилов нагнулся и стал что‑то отворачивать.

– Ты когда‑нибудь автопилот видел?

Белобров не отвечал, он рассматривал немецкую полетную карту.

Из разбитой штурманской кабины выбрался Черепец.

– Запасливые, черти, – сказал он и показал Белоброву термос.

Белобров отвернул крышку и вытащил пробку. Из термоса шел пар…

– Да, вот история… – задумчиво сказал Белобров.

Послышался шум самолета.

– Слышите?! – спросил Черепец. – Товарищ гвардии капитан, слышите? – крикнул громче Черепец.

Гаврилов выглянул из кабины.

– Ничего не слышу…

– А я слышу, – Белобров опять послушал гудение. – Заканчивай, инженер!

Из‑за скалы, басовито гудя моторами, выскочил «Арадо». Он шел совсем низко.

– Бегом! – скомандовал Белобров.

Они побежали к своему самолету.

Тотчас же «Арадо» увидел их и ударил по ним из пулемета. Но увидел и ударил поздно. Поэтому сразу пошел на второй круг.

В это время Белобров рванул в воздух свой самолет и сразу ушел за сопку.

Белобров, Гаврилов и Черепец долго еще откашливались от быстрого бега, хохотали и переругивались.

Они летели низко над сопками.

– А у нас под окном бузина росла… Поглядишь в окно, и все, вы знаете, бузина, бузина… – говорил Черепец.

Белобров положил машину резко в вираж и показал вниз рукой.

Под ними на рыжей скале между проплешинами потемневшего снега лежал торпедоносец Мак‑6‑й Плотникова.

– Вот, – крикнул Белобров. – Это Плотников. Как их!

То, что лежало под ними, была уже не машина, а несгоревшие металлические части самолета. Машина умерла. И людей, если они не прыгнули с парашюта, там не могло быть. Белобров повел машину на второй круг.

– Горючка рванула, – сказал Черепец. – Металл вон поплавился, – и стянул шлем.

– Все, – сказал Белобров и тоже стянул шлем. – Сесть не могу, поехали, – он выровнял самолет и прибавил газ.

Он ушел за скалу и, будто сам не выдержав, облетел ее и вернулся. Все молча посмотрели на землю.

И опять сделал круг над погибшим торпедоносцем, и еще один, не то высматривая что‑то, не то прощаясь. Покачивая крыльями, ушел за скалу. Звук его мотора стал слабеть и исчез.

– Весна, – глубоко вздохнул Белобров, – теперь уж возьмется…

– Не‑е‑е, еще сильная пурга будет, – ответил Черепец.

Над плюшевым занавесом на красном полотенце было написано: «Севастополь наш! Смерть немецким оккупантам!»

На сцене шел спектакль из жизни подводников. Декорация изображала отсек подводной лодки, лежащей на грунте. Спектакль играли артисты театра флота.

Несколько матросов в тельняшках лежали в отсеке. Мичман перестукивался с другим отсеком. Люди задыхались. Зал был полон. В первых рядах сидели подводники.

Слышны взрывы глубинных бомб. Лампочка в отсеке замигала.

На сцене мичман считает взрывы:

– Один, второй… третий (взрывы удаляются). Вроде пронесло (он тяжело дышит). Ну, что, хлопчики, тяжко? Нас, моряков, чертей полосатых, просто так не взять! Мы еще поживем, мы еще повоюем! Наверх все, товарищи! Все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает… – запел мичман.

Слышен стук из другого отсека. Мичман берет ключ и хочет ответить, но ключ вываливается у него из рук.

Молодой матрос, ловя воздух широко открытым ртом, с трудом подползает к мичману, поднимает ключ, два‑три раза ударяет в стену и, «потеряв» сознание, роняет голову на грудь старого моряка.

Послышался стук откидываемых сидений. Мичман живо приоткрыл один глаз. Подводники дружно покидали зал.

Белобров и Гаврилов стояли в ярко освещенном коридоре.

Здесь совсем громко играла музыка, в большом зале танцевали, из других дверей сухо стучали шары. На стенах висели большие красочные плакаты, выпущенные политотделом ВВС по случаю последних побед.

В красиво нарисованных волнах среди пушечных стволов, пулеметов и гвардейских знамен в ряд стояли экипажи Фоменко и Плотникова. Белоброву с Гавриловым хотелось еще постоять здесь, и покурить, и поговорить о чем‑нибудь значительном. Покурить здесь было нельзя, сесть негде, и они пошли по коридору притихшие.

Мимо проходили подводники.

– Спектакль уже кончился? – спросил Белобров.

– Нет, не кончился, – ответил высокий подводник, – надоело. Я на дне лежал, меня бомбили, я задыхался, понимаешь? Пришел теперь с девушкой культурно отдохнуть, а они мне показывают, как я лежу, задыхаюсь, да еще и пою… Пошли они к черту, ей‑богу.

Здесь их настиг Семочкин, схватил за руки и потащил к залу со столиками, покрытыми белыми скатертями, – туда, где ужинали и пили чай. Все столики были заняты, угловые сдвинуты вместе, там сидели истребители и ребята из минно‑торпедного, и сутулый начмед Амираджиби был там. Все радостно закричали, когда они появились.

Летчики пили чай, старательно размешивая его. Отхлебывали, морщились, словно это было лекарство. Здесь была и Настя Плотникова, освободившаяся после спектакля, похудевшая и подурневшая. За ее стулом стоял истребитель Сафарычев, почти мальчишка с хохолком. Семочкин подтолкнул вперед очень молоденькую и очень хорошенькую девушку, а она держала его за рукав и твердила:

– Костик! Ну, Костик же!

– Это Оля, – Семочкин развернул девушку лицом к Белоброву и Гаврилову, – а это герои! Они спасли мою честь! Честь боевого летчика. Пока в наших ВВС есть такие ребята, можно быть спокойным, – Семочкин долго и крепко пожимал им руки.

– Прошу к столу!

– Мы в город едем, – сказал Белобров, – первым рейсом… Вот его сына встречать.

– Ну, ребята! – взмолился Семочкин, – ну, когда еще свидимся, неизвестно. Правда? А сегодня такой праздник!

Все сели. Белобров стал помешивать ложечкой в стакане.

– Это можно не размешивать! – засмеялся Семочкин. – За победу! – он поднял стакан.

Деревянные мостки были узкие, и Черепец не мог вести Марусю под ручку. Она шла впереди, большая, стройная, мостки под ее крепкими полными ногами прогибались, и доски в темноте иногда громко хлопали по воде. По параллельным мосткам с грохотом и хлопаньем проносились опаздывающие из увольнения. Было тепло, под скалой грузился бочками большой ржавый транспорт со странным названием «Рефрижератор номер три». Там горели синие лампочки, скрипели лебедки. Черепец шел за Марусей нога в ногу и стал писать, то есть говорить про себя письмо брату. «Дорогой брат! Петр! Пишет тебе старшина второй статьи орденоносец Федор Черепец. Сообщаю тебе о намеченном изменении в своей жизни. Ее зовут Мария, работает она по питанию. Детей мы планируем иметь трех».

Наконец мостки обошли с двух сторон черную лужу, из которой торчала спинка железной кровати, соединились, и Черепец опять взял Марусю под ручку.

– Если вслушаться в сухой язык цифр, – сказал Черепец, – то делается наглядно ясно, кто воюет, а кто по аэродромам треплется. И выходит, что боевого состава от общего числа не более как семь человек на сотню, а вроде бы все летаем. Обидно, – Черепец снял фуражку и помахал ею. Он недавно подстригся под бокс, но все равно, когда шел с Марусей, голова у него под фуражкой потела.

– Вам эта стрижка под бокс вовсе не идет, – сказала Маруся, – вы в ней на арбуз похожи…

В разговоре с Марусей Черепцу все время приходилось пробиваться через насмешку.

– В королевских ВВС, ребята кое с кем разговаривали, у них как?! У них так – ты старшина, но летаешь стрелком, а он майор, но не летает… Так вот тебе полагается ванная, а ему, майору…

– У них старшин вовсе нет, – сказала Маруся, – мы у них с девочками убирались…. У них все сержанты и все рыжие… Будто у них один папа…. А так, что у них, что у нас. Довольно нахальные и врут… Послушаешь, так все герои‑соколы, а на самом деле бывают вовсе ерундовые парни….

– Если на то пошло, – обиделся Черепец, – если пошло на правду, то среди работников столовой тоже попадаются жулики…

– Тю, – сказала Маруся, – такое бывает жулье, даже работать стыдно…

Мостки опять стали узкие, и Маруся пошла вперед, а Черепец сунул руки в карман бушлата, от этого фигура становилась красивее и стройнее. Они приближались к каптерке Артюхова, там метнулась тень, и сразу же призывно и жалобно заиграла гармоника. Артюхов выполнял все, что было намечено. Голова и шея у Черепца стали совсем мокрыми. Они шли мимо каптерки, а сил остановить Марусю и пригласить зайти у Черепца не было. В каптерке стукнула дверь, и гармоника заиграла «Смелого пуля боится, смелого штык не берет»…. Черепец с тоской глядел в спину Марусе. Они завернули за высокий черный забор у склада. Маруся остановилась, издали протянула Черепцу теплую, красную от кухонной работы руку.

– Ну, до свиданьица, – сказала она, – как бы вам взыскание не получить… Ваше дело такое – военная служба. Так что бывайте…

Тут он решился. Какая‑то неведомая сила подхватила его, он задержал ее руку в своей, сдавил и потянул к себе. Она рванулась, но Черепец был сильный человек. Он прижал ее к мокрому черному забору.

– Не ломайся, – сказал он, – тоже мне новости выдумала. Не будем ломаться, – бормотал он, проникая под серое бесформенное пальто и обнимая ее. – Зачем нам ломаться?! Не надо нам ломаться?!

Но она вдруг напряглась, зашипела как кошка и ударила его с такой быстротой и силой, что он даже ничего не успел сообразить.

Фуражка слетела с его головы в пузырящуюся под весенним ветром лужу.

– Герой! Сокол чертов! – сказала она. И заплакала злобными ненавидящими слезами. – У всех у вас увольнительные, а мне какое дело?! Хватаете по всем углам, соколы… – она кричала, стоя от него в нескольких шагах, по щиколотку в огромной луже, в которой все еще плавала его фуражка.

– Маруся, – хотел он сказать, но вместо этого получилось какое‑то другое, обидное, – Тпруся…

Она затопала ногами в луже и пошла наверх к столовой. Он подобрал фуражку, отряхнул ее о брючину и побежал следом.

Он хотел ей что‑нибудь сказать, но не знал таких слов, все слова про любовь казались ему чушью, он бы их просто не мог выговорить.

– Тпруся, – опять закричал он. – Траша!

«Траша» у него вышло вместо «Маша».

– Товарищ гвардии старший лейтенант, – сказал над ухом уже спящего Шорина голос дневального, – там с гвардии старшиной ЧП, а гвардии старший лейтенант уехали… Уехали встречать сына гвардии инженер‑капитана Гаврилова, – голос вырвал Шорина из прекрасного, может быть, лучшего в его жизни сна.

– Чего, чего тебе надо? – забормотал он, садясь. И по привычке военного летчика, ничего еще не понимая, стал уже быстро одеваться.

Черепец сидел у столовой под синей лампочкой, вокруг него толпились несколько человек, глаз у него заплыл, он был пьян.

– Черепец, дорогой, кто это вас? – строго спросил Шорин.

– Майор, – сказал Черепец, – ванная, англичане – все рыжие бобрики…. Перл Харбор, – он ударил себя кулаком в грудь и заплакал. – У них один папа…

– Ну, разгильдяй же, ну, типичный разгильдяй! Я давно заметил, они с Артюховым полетные копили… Вы еще не знаете… Вы еще с первого числа маргарин покушаете и спросите… – размахивая трубочкой, подогревал страсти Неделькин.

Сделать уже ничего было нельзя, к столовой подъезжал грузовик с краснофлотцем из комендатуры.

– Перл Харбор здесь, – опять сказал Черепец, показывая себе на грудь, и сам пошел к грузовику.

– На этом радиоузел Дома флота заканчивает свои передачи, – объявила диктор. – Спокойной ночи, товарищи!

В город, встречать Игорешку, они ехали втроем: Гаврилов, Белобров и Дмитриенко. Провожали их к рейсовому прямо из Дома флота. Дмитриенко привел Долдона. Долдон ни за что не хотел лезть на рейсовый, и для того, чтобы подбодрить его и показать пример, Дмитриенко разбегался и с криком «Вперед!» прыгал на корму. Долдон тоже разбегался, но у самой кормы горестно застывал на пирсе, развесив длинные глупые уши. Тогда Дмитриенко поднял его и зашвырнул на рейсовый.

– Иногда принуждение – лучший вид воспитания, – сказал по этому поводу Дмитриенко. На пирс притащили патефон, потом пришел начмед Амираджиби с плетеной корзинкой, в которой были живой крольчонок и железная банка с витамином С. Он вытащил из кармана столовую ложку, набрал из банки белый порошок и требовал от каждого открыть рот и укрепить здоровье.

Гаврилов брать кролика отказался.

– Ну что вы, доктор, ей‑богу, анекдот делаете, его и кормить нечем, и Долдон его сожрет, и что я буду по городу с крольчонком гулять?

– Кролика я беру на себя, – сказал Дмитриенко. – С Долдоном они будут как братья, а мальчишке будет радость…

– Хочу любить, хочу всегда любить, – играла пластинка.

Настя Плотникова стояла на пирсе, рядом с ней опять стоял Сафарычев. Он стоял без шинели, с залива тянуло сырым соленым ветром, и, хотя злиться было собственно не на что, Белобров так обозлился, что сам почувствовал, как бледнеет и как лицо опять сводит. Он ушел за надстройку и через иллюминатор стал смотреть в пустую каюту рейсового. Там под синей лампочкой на столе стояли кружки, лежал хлеб и было рассыпано домино.

Машина рейсового зачавкала, палуба дрогнула, и, когда Белобров вышел из‑за надстройки, пирс уже ушел. Дмитриенко на корме на жесткой деревянной скамье знакомил крольчонка с Долдоном.

– Цыц, – говорил он, – цыц!

Гаврилов сидел рядом, и лицо его в свете синего иллюминатора было тревожным.

Долдон громко гавкнул, крольчонок в корзинке попятился.

«Дорогая моя Варя!»

– А про дочку с женой ничего пока не слыхать? Может, лиха беда начало?! – к Гаврилову подсел капитан рейсового.

– Давай выпьем, капитан, – пошутил Дмитриенко. – Твоя выпивка – наши песни… Взаймы и в аренду, а?

Он сел на корточки около Долдона, дохнул ему в нос и приказал: «Ищи!»

– Слушайте, товарищи моряки, – сказала девушка в узенькой железнодорожной шинельке, – какие вы принципиальные, что над душою стоите… Нету поезда, что я его, рожу? Ничего не случилось, просто опаздывает… И волка своего заберите… Здесь нельзя…

Они вышли из разбитого в лесах вокзала.

– Собачка, собачка, – закричали с лесов девушки, – почему у тебя такой хозяин длинный?

Было настоящее весеннее утро, первое в этом году. Солнце припекало, залив блестел.

– Да иди же ты‑рядом, проклятая собака… – бормотал Дмитриенко и остервенело дергал веревку. Долдон глядел на него преданными глазами, прижимал уши и тянул как паровоз.

– Может, он ездовой… – заныл Дмитриенко. – Возьми хоть кролика, Саш.

– Нет, – сказал Белобров и заложил руки за спину. – Не хочу разрушать ихние братские отношения. Потом, ты с собакой и кроликом – это очень красиво.

Гаврилов нес маленький чемоданчик, кротко улыбался, подставляя лицо солнцу.

– Возьми кролика, подлец! – опять заныл Дмитриенко. – Ну я ошибся, ну что же. Ну я признаю…

Белобров опять засмеялся и пошел впереди.

Вдоль длинных деревянных пирсов вперемешку стояли небольшие военные и торговые суда, на одном пирсе матрос в робе катался на велосипеде, выделывая немыслимые кренделя.

Был праздник, к кораблям пришли девушки, матросы торчали на палубах, перекрикиваясь с ними, смеялись. Некоторые девушки сняли пальто и несли их, перекинув через руку; в кофтах и свитерах с высокими плечиками, они казались нарядными. Офицеры прогуливались в кителях и белых перчатках. Припекало солнце, и в воздухе стоял звон, какой бывает только весной.

– Я вижу, – сказал Дмитриенко, – что меня, боевого офицера, девушки принимают за грибника… свинство какое‑то. Давай кролика в камеру хранения сдадим? Жарко…

– Кроликов не принимают, – железным голосом сказал Белобров. – И потом что? С кроликом тебе жарко, а без кролика сразу будет холодно? Так, что ли?

Тут же навстречу им попался толстый полковник, и именно в это же время Долдон так рванул Дмитриенко, что тот пулей пролетел мимо полковника с ослепительно извиняющейся улыбкой. А полковник еще долго грозно глядел им вслед и кашлял.

У запасных путей был базарчик. Много продавали, мало покупали. Полная проводница продавала картошку, и они купили полный чемоданчик.

– Мороженая? – строго спросил Дмитриенко, вытер ладонью картофелину и, закатив глаза, попробовал на вкус, но, конечно, ничего не понял.

– Да ни боже ж мой, – сказала проводница, – кролика где брали?

Белобров отошел на несколько шагов и увидел пушистый воротник, примерно про такой воротник для Маруси плел ему как‑то Черепец. Он подошел без намерения купить его, но у женщины лицо было бледное и прозрачное, она заикалась и никак не могла произнести слово «пятьсот», хотя несколько раз начинала.

И боты у нее были такие, как у Вари в поезде.

Стараясь не смотреть на нее, он сунул деньги, больше на сто рублей – шестьсот. Рядом старушка продавала коробочку детских красок, он тоже купил.

Внизу на пирсе раздались крики и хохот. Матрос, который вертелся на велосипеде, свалился‑таки в воду.

– Феликс Дзержинский, – сказал Дмитриенко.

– Что? – спросил Белобров.

– Феликс Дзержинский, название паровоза. Поезд подошел, шляпы, вот что, – и Дмитриенко сунул в руку Белоброву корзину с кроликом.

– У него на руке повязка! Смотрите ребенка с повязкой! – вдруг закричал Гаврилов и побежал к вокзалу.

Пассажиры сразу расступились, и они увидели застывшего от напряжения маленького мальчика с резко вытянутой вверх рукой, на которой была красная повязка. Другой рукой мальчик держал за руку проводника. Мальчик был в бушлатике, с серым мешочком за плечами, его ноги в чулках и каких‑то плоских ботинках казались длинными и жалкими.

– Ты Игорь? – спросил Гаврилов.

На Гаврилова невозможно было смотреть, и Белобров отвернулся.

– Ты Игорь? – повторил Гаврилов каким‑то странным шипящим голосом.

Мальчик смотрел на Гаврилова и молчал.

– Да Игорь, Игорь! – заорал Белобров. – У него же написано… Ну, смотри же…

На мешочке и на ящичке, который держал проводник, большими буквами чернильным карандашом было написано: «ИГОРЬ ГАВРИЛОВ 5 ЛЕТ».

– Кто из вас мой папа? – спросил мальчик и поджал ногу.

– Вот он, – торопливо сказал Белобров.

– Я, – сказал Гаврилов и шагнул вперед. – Я, Игорешка…

Голос мальчика:

«Так я и запомнил их на всю жизнь, двух худых и длинных и одного невысокого и коренастого, с собакой и кроликом, в черных блестящих регланах, фуражках и белых кашне. Так вот и стоят они у меня перед глазами».

Зенитки били без устали. К ним присоединилась корабельная артиллерия. Сквозь грохот орудий прорезывался гул самолетов.

У открытых дверей парикмахерской стоял народ и смотрел в небо.

Втянув голову в плечи, Белобров вбежал в парикмахерскую.

Шура Веселаго помахала ему в зеркало рукой. К ней в кресло как раз садился штурман Звягинцев, он тоже заулыбался в зеркало. Белобров взял со стола газету и стал пересыпать в нее картошку.

– Настоящая, – сказал он Шуре. – В дорогу сваришь с солью, хорошее кушанье.

– Киля, пеньюар, – приказала Шура и кивнула.

Зенитки били как оглашенные. Очередь профессионально оживилась, все показывали руками, как, по их мнению, идет немец. Под белой простыней Звягинцев казался штатским и пожилым.

Киля яростно выметала его пегие волосы.

В сопках грохнуло так, что во всем доме заныли окна.

– Снесся‑таки зараза, – сказала Киля, выглянув на улицу.

Зенитки перестали стрелять. Прогудела сирена, извещающая отбой воздушной тревоги. Белобров стоял в прихожей и неторопливо снимал реглан.

Из комнаты Гаврилова доносилось бормотание, Белобров прислушался.

– Он ничего, кроме воды, сверху не видит… – говорил едва слышный голос Гаврилова. – Вода сверху этакая голубая… Уж ты мне поверь…

В комнате что‑то упало, и детский голос спросил:

– Папа, это что упало?

– Это я стол задел, – ответил голос Гаврилова. – Ты спи. Положи ушко на подушку.

– Папа, а почему ты плачешь?

Надо было уйти, но пол заскрипел, и Белобров растерялся.

– Это у меня насморк, – сказал голос Гаврилова. – Совсем заложило… Ты спи давай… У меня чайник на кухне.

Дверь отворилась, и мимо Белоброва на кухню, тяжело дыша и отфыркиваясь, быстро прошел Гаврилов. Лицо у него было съеженное и мокрое. Он умылся, сел за покрытый газетами стол, обмакнул корочку в соль и стал жевать. Воздушная тревога кончилась, резко на полуслове включилось радио, Белобров прикрутил громкость.

– А мальчик‑то не мой… – сказал вдруг Гаврилов и опять обмакнул корочку в соль. – Ни Женю не помнит, ни Лялю… А ведь мальчик большой, пять лет, должен помнить… И ни на меня не похож, ни на Лялю. Ничего общего. Раздевайся, чай будем пить… с шиповником…

Он пошел к плитке и стал смотреть, как закипает чайник.

В комнате что‑то зашуршало и стукнуло. Гаврилов покачал головой.

– Еду ворует, – сказал он, – обещал больше не трогать… Там тушенка…

– Если ты так считаешь твердо, – выдавил Белобров. Что «считаешь» и что «твердо», он не знал.

– И что, – сдавленным голосом крикнул Гаврилов и обернулся на дверь, – если это не мой, то мой‑то где?! Вот вопрос… А этому что сказать? Извините, неувязочка, я не ваш папаша…. Нет уж, я один, и он один…

И Гаврилов погрозил кому‑то невидимому пальцем.

В комнате опять заскрипело. Гаврилов ушел туда и вернулся с закрытой банкой.

– Перепутал, – он повертел ее в руках, – закрытая банка.

Они долго молчали, Гаврилов вздыхал и гонял по столу корочку.

– Хороший мальчик, – неуверенно сказал он. – У меня, говорит, там ежик ушастый был… Ну, в смысле у них…

Голос мальчика:

«Я достаю из‑под кровати украденную открытую банку свиной тушенки, ухожу в щель между затемнением и балконной дверью, ем, ем, ем и смотрю в окно. Руки и подбородок у меня в сале. Где‑то в квартире, наверное на кухне, разговаривают. Я уже не могу есть, перед глазами у меня какие‑то круги, но я все равно ем».

– Послушай‑ка, Сашок, – вдруг льстиво говорит Гаврилов и включает в сеть лампочку в виде обклеенного газетой грибка, – у тебя глаз хороший, посмотри‑ка в таком ракурсе, ну черт его знает, а?! У меня губа стянутая и у него?

И он застывает, напрягая шею, мученически задрав подбородок кверху.

– Дай тазик, дурак. – Белобров сам хватает из‑под стола зеленый таз и быстро идет в комнату.

Голос мальчика:

«Я стою между раскладушкой и диваном на коленях, упираюсь жирными руками в тазик, икаю и плачу. Мне плохо и стыдно, папа держит мне голову. Дядя Саша Белобров ногой выкатывает пустую банку из‑под тушенки».

«Может, Амираджиби привести?» – спрашивает мой папа. Я не знаю, что такое Амираджиби, я думаю, что Амираджиби – это клизма.

«Не надо амираджиби, – кричу я и икаю, – я больше не буду». И плачу, плачу.

Маруся отвернулась от доктора. Амираджиби снял фонендоскоп, повесил его себе на шею и подставил руки под умывальник.

– Быстро утомляетесь? – спросил он. – Потеете?

На каждый вопрос Маруся молча кивала. Она сидела спиной к Амираджиби и неторопливо одевалась.

– В семье у вас никто туберкулезом не болел?

Маруся отрицательно мотнула головой.

– С туберкулезниками не приходилось общаться?

Маруся тихо засмеялась.

– Приходится…

– Где?.. Здесь?.. У нас?..

– Где же еще?

Глаза у доктора округлились.

Маруся повернулась и, увидев испуганное лицо, совсем рассмеялась:

– Все из хозвзвода – это «туберкулезники…» Летчики их так называют: «туберкулезники»…

Теперь они смеялись вместе. Амираджиби снял халат и сел к столу.

– Значит, так, уважаемая барышня, – начал он, – от работы на кухне я вас отстраняю, это первое! Второе – надо менять климат. Организм у вас молодой… Уверен… Все обойдется.

– Все. Сгорел Мухин… Эх, дурак был парень, – сказал Мухин, шофер командующего, и включил дворники.

Дорога сразу возникла перед ним. Вместе с грузовичком, обрызгавшим стекло.

– Ничего, Мухин, ничего, друг, – сказал Белобров, – что решают пять минут? Ничего они не решают… Покушай лучше шоколада…

И он протянул Мухину плитку с заднего сиденья.

– Дай‑ка я еще свинчу… – сказал Дмитриенко и полез под реглан к Белоброву. – Там лейтенант – зверь, но ордена уважает… И кашне давай, твое чище… – и он принялся свинчивать Красное Знамя с кителя Белоброва.

– Все, – простонал Мухин и сунул в рот кусочек шоколада, – он по грязи увидит… Грязь какая…

– Не увидит он по грязи, – сказал Белобров, – ты знаешь, какой ты человек, Мухин?! На таких людях ВВС стоят, вот какой ты человек! Ты шоколад‑то очень не лопай. Он – чтоб не спать.

– Весь китель издырявили, – сказал Дмитриенко, – зато показаться не стыдно…

Вся грудь его была в орденах. К двум своим он добавил четыре одолженных.

Мухин приоткрыл форточку и выплюнул шоколадку.

– Ты нам, Мухин, потом свою фотокарточку подаришь… Подаришь, а, Мухин?

– Ладно травить‑то, товарищи офицеры, – хохотнул Мухин. – Здесь встать?

– Нет уж, ты к крылечку… И погуди…

– Гудеть не буду, – сказал Мухин и погудел.

Большая машина командующего остановилась у крылечка комендатуры. На крылечко сразу же выскочил розовощекий лейтенант. В растекшихся от дождя окнах тоже возникли лица. Дмитриенко в расстегнутом реглане, странно придерживая его рукой на коленях, поднялся на крылечко, протянул руку лейтенанту, и они оба исчезли в комендатуре. Лейтенант был тот самый, знакомый Белоброву по дню приезда. И автоматчик был тот же. Сейчас он, что называется, ел глазами машину командующего. И Белобров на всякий случай отодвинулся поглубже.

– Все, – сказал Мухин, посмотрев на часы и продолжая сидеть неподвижно. – Вы как хотите, я поехал… Ну, ей‑богу…

– Гудни, Мухин, – попросил Белобров.

– Нет. Я вас понял, гудеть не буду… – сказал Мухин и погудел. – Сколько раз я этот рентген на ТЦБ проходил, даже не знал, что он туберкулез легких выявляет… Говорят, от него сырое мясо помогает…

И еще раз сильно загудел.

В окне комендатуры опять появились лица, потом дверь открылась, оттуда вышел Черепец в рабочей робе, растерянный и с одеялом под мышкой. Глаз у него заплыл, и Белобров подумал, какое точное все‑таки слово «фонарь». За ним лейтенант – начальник губы, за ним Дмитриенко с длинной папиросой и в орденах. Дмитриенко что‑то рассказывал лейтенанту…

– Ну, теперь он рассказывать станет… – завопил Мухин и страшно загудел.

Дмитриенко пожал руку лейтенанту и побежал к машине.

– У Шорина сеструха этим болела, – говорил Дмитриенко Черепцу. – На пищеблоке, конечно, с этим нельзя, но на юге сразу поправится.

– И еще ягода морошка от этого помогает, – Мухин тронул машину, – здоровая ж баба… Конь…

Он кивнул в зеркало.

Автоматчик на крыльце на всякий случай взял на караул, а лейтенант приложил руку к фуражке.

У пирса на погрузке стоял транспорт «Рефрижератор‑3». Он казался не кораблем, а каким‑то недостроенным домом или складом, пузатым и надежным. Вся палуба его была заставлена бочками, дымила труба.

Белобров, Дмитриенко и Черепец спустились к пирсу. Было ветрено. Залив надулся и почернел. Подъехал грузовик. Из кабины вылезла Мария Николаевна с укутанным в несколько одеял ребенком. Из кузова выпрыгнули Шура и матросы. Дмитриенко и матросы стали вытаскивать вещи, а Белоброву сунули ребенка. Пошел дождь, Мария Николаевна встала позади Белоброва с зонтиком, прижимая локтем большую лакированную сумочку, время от времени нащупывая что‑то на груди.

– Что‑нибудь говорит? – громко спросил Белобров у Марии Николаевны, она плохо слышала.

– Он завтра в школу идет, – крикнула Шура от грузовика, – что, мало каши кушали?

И с азартом стала помогать сгружать знакомую Белоброву швейную машинку.

Дождь забирал все сильнее. Медленно подъехал и встал на сухое место аэродромный «пикап». Из кузова, из‑под брезента, выбирался Артюхов. Шофер открыл дверцу, оттуда вылезла Маруся и потащила за собой большой фанерный чемодан с замочком и сетку с валенками. Она была растеряна и делала все медленно.

– Полундра, – сказал Черепец, – стоп.

И, пройдя через лужу, схватил Марусю за чемодан.

– И чего вы на меня, девушка, так крепко обижаетесь?

Подбитый глаз у него задергался. Маруся не выдернула ручку чемодана, она смотрела мимо него, куда‑то на залив.

– А чего мне на вас обижаться…, – она продолжала стоять, – старшина и старшина… у ВВС много старшин.

Они стояли под дождем. Черепец молчал, молчала и она.

– Бабушку поцелуй, балбес, – кричал рядом с ними какой‑то майор из морской пехоты.

– Я им отрез ваш вручить хотел и ватин с прикладом, они не взяли, – сказал Артюхов, высунувшись в окошко «пикапа». Он был обижен за Черепца до последней степени и гневно грыз баранку.

– Ладно, я возьму, – вдруг сказала Маруся.

Артюхов поспешно полез в кузов, достал набитую наволочку, передал Черепцу, а тот Марусе.

– Хорошая длина выйдет, – вдруг лихорадочно заговорил Черепец, – за модой не гонись, тебе тепло требуется, хотя немного приталить будет неплохо… Когда сошьешь, сфотографируйся, фотокарточку мне пришли.

Он помолчал.

– Красива северная природа, – добавил он, – хотя южная тоже ничего себе. Может, прогуляемся… Ваш буксир еще не зачалил…

И они пошли вдоль пирса. Он нес одной рукой чемодан и валенки, а другой вел ее под ручку. На рабочих ботинках его не было шнурков.

Орали чайки, ходила волна по заливу.

С буксира на транспорт заводили конец. Плечи Маруси и Черепца потемнели от дождя, ветер рвал полу ее тяжелого пальто.

– Давай посидим, – сказал Черепец. Смахнул рукой воду с цементной скамьи. Они сели, в кармане у Черепца была баранка, он размочил ее в луже, и они молча стали бросать кусочки чайкам. То он, то она. И Черепец подумал, что, наверное, сегодня лучший день в его жизни. И что он его всегда будет вспоминать.

– У меня легкая форма, – вдруг сказала Маруся, – Амираджиби сказал, мне детей иметь можно будет… Я девушка здоровая, поправлюсь…

– У‑у‑у‑у‑у… – загудел рефрижератор.

Шофер домел веничком кузов, закрыл борт. Белобров сунул ему тридцатку.

– Ну вот и все, – сказала Шура и оглядела дома, базу, размытые дождем сопки, серые корабли под скалой. – Все, как сон, Сашенька, как сон!

Не прощаясь, взяла ребенка и, криво ступая, пошла по трапу. За ней поднимался Дмитриенко с открытым зонтом. На палубе ветер сорвал брезент со штабеля бочек. Помощник ругался в мятый жестяной рупор. Транспорт опять загудел.

– Ну, бывайте здоровы, – и Маруся по очереди пожала руки Черепцу и Артюхову. И потом еще раз Черепцу. – Ждите нас с песнями.

И, забрав в обе руки вещи, не оборачиваясь, полезла по трапу.

Майор из морской пехоты заиграл на аккордеоне танец маленьких лебедей. Матросы с грохотом потащили наверх трап. Буксир сипло гуднул и стал вытягивать транспорт. Все закричали. Шура с палубы замотала головой. Потом ткнулась лицом в одеяло, в которое был завернут ребенок, и заплакала. Маслянистая спокойная полоса воды между транспортом и пирсом все увеличивалась. Тугой ветер с залива вырвал у Марии Николаевны зонт, он закачался на воде. Мария Николаевна тоже заплакала, не то из‑за зонта, не то вообще. Все кричали с палубы и с берега, это был крик, в котором нельзя разобрать слов. Майор играл вальс. Подъехал «виллис», из него выскочила Настя Плотникова и замахала рукой, а Шура опять закивала головой.

Маруся стояла на самой корме у штабеля бочек рядом с вылинявшим флагом, так и не выпустив чемодана и узлов. Она смотрела на Черепца и на пирс долго и неподвижно. Тугой сырой ветер все дул и дул с залива, транспорт отходил. За транспортом двинулся «Бобик» – большой морской охотник – корабль охранения, матросы с него показывали на зонт в воде и смеялись.

Провожающие расходились с пирса. Настя уехала на «виллисе». Черепец, Белобров и Дмитриенко залезли в кузов «пикапа» и накрыли плечи брезентом. К ним попросился майор с аккордеоном, и они поехали.

– Уехал мой балбес, – сказал майор, – и снова я одна.

Он хихикнул и заиграл «Давай пожмем друг другу руки».

– Вчера муху видел, весна… – сказал Черепец.

«Пикап», подвывая моторчиком, полз в гору, и чем выше он полз, тем шире открывался залив и тем сильнее становился ветер. Майор играл, лицо у него было печальное.

– Черепец, дорогой, – сказал Белобров, – а я тебе воротник купил, – он кивнул в сторону залива и транспорта, – купил, понимаешь, и не отдал… Из хорька воротник. Теплый.

– Я этого хорька знал, – подтвердил Дмитриенко, – он Долдону двоюродный брат…

Но никто не засмеялся.

– Мы их разобьем так страшно, – вдруг сказал Белобров, – что веками поколения будут помнить этот разгром. Честное слово, ребята.

Транспорт, выходя из узости, загудел и долго гудел, пока вовсе не пропал из виду.

На развилке майор попросил выйти. А они поехали дальше. Навстречу, подскакивая на ухабах, один за одним ехали два грузовика, в которых, держась друг за друга, пряча лицо от холодного ветра, стояли летчики. Летчики пели. Вместе с ними у самой кабины стояла и пела хорошенькая курносая девушка.

– Здравствуйте, сестрица, – заорал Дмитриенко и встал в «пикапе».

– Здравствуйте, товарищ гвардии капитан… – сухо ответила девушка.

Рядом с ней в красивой позе стоял Сафарычев.

– Все, – сказал Дмитриенко и погрозил Сафарычеву кулаком, – «окончен бал, погасли свечи». Надо было мне в тот Мурманск ездить!..

В небо взлетели три ракеты. Механики расчехлили самолеты.

У КДП был выстроен летный состав полка.

– В пятом квадрате обнаружена подводная лодка противника, – сказал начальник штаба. – Видимо, она потеряла ход. Ее охраняют и буксируют несколько боевых кораблей. Первым пойдет звено Белоброва. Обстановку оценить на месте и сообщить на командный пункт. Остальным экипажам готовность номер один.

К КДП подъехали санитарная и пожарная машины.

– Капитан Бесшапко?! – позвал командующий.

Бесшапко вышел из строя. Генерал подошел, снял с руки часы и протянул их капитану.

Бесшапко посмотрел на генерала, на строй летчиков, опять на генерала.

– Да, да, вы были тогда правы! – повторил генерал и отдал часы.

– Попробуй теперь забросить капитанские звездочки, может вернутся генеральскими погонами, – сказал кто‑то, и строй грохнул смехом.

Заработал один, второй, третий моторы самолетов. Подвешивались торпеды. Экипажи разбегались по своим машинам. Белобров, Звягинцев и Черепец, стоявшие чуть в стороне от самолета, склонились над картой. Механик выключил моторы, и стали слышны голоса.

– Вы моя сказка, – кричал за столом невидимый Белоброву торпедист, – вы для меня сон, дуну – и вас нет… А она на семь годов старше и вылитая треска…

– Бабушка, – прокричал второй голос.

– Ну, что там у вас? – крикнул Белобров.

Из‑под самолета выскочил торпедист и доложил:

– Торпеда готова по‑боевому!

– Добро! – сказал Белобров. Он осмотрел шасси, снял с унтов калоши и полез в кабину.

Звягинцев проверил подвеску торпеды, поиграл с подбежавшим Долдоном, затоптал окурок и занял свое место.

Черепец пристегивал парашют и покрутил пулеметом.

В небо взлетела зеленая ракета.

– От винта, – крикнул Белобров и запустил сначала левый, затем правый моторы. Он надел на шлемофон каску и включил СПУ.

– Штурман в порядке? Стрелок в порядке?

– В порядке, – ответил Звягинцев. Он подкрутил высотомер, разложил карту.

– В порядке, – ответил Черепец.

– Тогда поезд отправляется, третий звонок, – сказал Белобров и запросил КДП.

– Клумба, Клумба! Я Мак‑4! Экипаж к выполнению боевого задания готов! Разрешите вырулить!

Белобров махнул рукой, и из‑под шасси убрали колодки. Механик отдал честь, Белобров кивнул головой, и самолет выкатился из капонира.

За Белобровом рулили экипажи Романова и Шорина. В стороне от полосы стоял «пикапчик», и Серафима, кутаясь в платок, смотрела, как взлетали тяжелые машины. Мощно и грозно выли моторы.

Над заливом в плексиглаз ударило солнце, под самолетом прошли голые, поросшие красноватыми лишайниками скалы, и сразу же открылось море. Над водой стояла легкая дымка, и они еще с час летели над этой дымкой.

– Интересно, – сказал Черепец по СПУ, – как муха на потолок садится, с переворота или с петли?

Ему никто не ответил.

Они снизились, дымка сразу вроде бы расступилась, открывая студеную холодную воду, и тогда они увидели первую бочку. Они не сразу поняли, что это бочка, она была полузатоплена, и Белобров решил, что это мина: сорванные мины ходили косяками, и их следовало наносить на карту, но это была не мина, а именно бочка, и вторая, и третья, и чем больше они снижались, тем шире расступалась дымка и тем больше открывалось этих полузатопленных знакомых масляных бочек с рефрижератора номер 3. Некоторые были разбиты, и на них и вокруг них сидели и плавали чайки. Больше ничего не было, только бочки, да угол какого‑то здорового ящика, да доски, на которых тоже сидели чайки. Бочки, бочки, бочки!

– Бочки! – быстро по СПУ сказал Черепец и облизнулся. – Бочки! Бочки с рефрижератора!

И вытер сделавшиеся мокрыми лоб и подбородок.

Море было пустое, студеное, беззвучно ходила волна.

– А‑а‑а‑а‑а‑а! – вдруг закричал Черепец и, чтобы заглушить в себе поднимающуюся откуда‑то из живота боль, ударил себя кулаком в лицо, раз и еще раз, потом выключил СПУ и уже беззвучно заплакал. Турель, небо и вода подернулись на секунду пестрыми кругами, когда эти круги пропали, никаких бочек уже не было, и он включил СПУ.

– Почему отключились? – спросил Белобров. – Вы мне попробуйте еще раз отключиться… Иван Иванович, курс…

Сердце Белоброва билось где‑то у самой шеи, лицо совсем свело. Он попил из жестяной банки, остатки воды выплеснул себе в лицо, чуть приоткрыл форточку, и ветер тихо завизжал в кабине.

Сначала Белобров увидел один корабль. Потом корабль и лодку. Лодка была повреждена и лишена хода. И охотник вел ее на буксире. Сердце Белоброва билось спокойно и ровно. Это была его минута, его мгновение, неповторимое и никогда не возвратимое, к которому его готовила вся эта война и его жизнь – военного моряка‑торпедоносца. Впрочем, Белобров не думал об этом в эти минуты, как не думал сейчас и о потопленном рефрижераторе. Он работал. И эта работа состояла в том, чтобы уничтожить подводную лодку, низкую, серую, с этой надстройкой, и с этой торчащей пушкой, и с черными фигурками людей вокруг этой пушки.

Струи черно‑серого дыма вырывались с кормы кораблей, они ставили вокруг лодки дымовую завесу.

– Мак‑5, Мак‑9, я – Мак‑4, – сказал по радио Белобров. – Видите?

Розанов выровнял машину и нажал кнопку радио.

– Вижу, я Мак‑5, как на ладони, – ответил он.

На КДП сквозь шум динамиков прорвался голос Белоброва.

– Клумба, я – Мак‑4.

– Мак‑4, я Клумба, вас слышу, – ответил руководитель полетов.

Генерал встал и подошел к микрофону.

– Клумба, я Мак‑4, – продолжал Белобров, – все на месте, все на месте. Видимость хорошая. Начинаем работать.

– Вас понял! – сказал командующий в микрофон. – Работайте. Хорошо работайте!

Он повернулся к оперативному:

– Поднимите еще одно звено!

– Есть! – ответил офицер и, выйдя из КДП, дал зеленую ракету.

– Маки, разошлись! – сказал Белобров. – Будем карать гадов! Всех на дно! Всех на дно! Вы меня слышите?!

Шорин отвернул вправо. Машина Романова – влево.

Романов стал заходить на лодку. Шорин и Белобров с разных сторон готовились атаковать боевые корабли.

Желто‑красными вспышками ощетинились охотники. Шорин и Белобров заставили их развернуться так, чтобы они не могли ставить завесу и отвлечь их от лодки.

Романов снизился над водой и вышел на боевой путь. Было видно, как пушку на лодке облепили черные фигурки людей и длинные желтые вспышки из этой пушки.

Штурман приник к прицелу. Самолет шел так низко, что, казалось, вот‑вот его винты заденут за волну. Из‑под брюха оторвалась серебристая сигара. Романов тут же развернул самолет. Огромный взрыв метнулся над лодкой. Все вдруг превратилось в бесформенное черно‑красное пятно.

Белобров и Шорин с разных сторон, почти на встречных курсах вышли в атаку.

– Атака, атака, атака! – сам себе командовал Белобров.

– Девятьсот, – бесцветным голосом выкрикивал Звягинцев, – восемьсот, семьсот… вправо, три.

Он приник к прицелу… шестьсот… пятьсот…

Белобров втянул голову в плечи и не мигая смотрел вперед.

– Карать! Карать! – сквозь сжатые зубы чеканил слова Белобров.

Борт корабля со сплошной стеной огня – приближался.

Белобров нажал на кнопку электросбрасывателя.

– Торпеда пошла‑а‑а, – заорал Черепец.

До взрыва торпеды корабль успел дать еще несколько залпов, и в момент разворота самолета у основания правого крыла торпедоносца разорвался снаряд. Звягинцев был убит. Самолет дернулся, но Белобров невероятным усилием выровнял машину. Фонарь был разбит. Каска съехала с головы.

– Штурман, штурман, – звал по СПУ Черепец, – командир, командир!

Белобров хотел ответить, но вместо слов изо рта полилась кровь, челюсть была разбита.

Чадил мотор, кабину затягивал рыжий едкий дым.

– Клумба, я Мак‑9, я Мак‑9 – задание выполнено! Мак‑4 хромает. Возвращаемся домой! – кричал по радио Шорин, пристраиваясь рядом с самолетом Белоброва.

Белобров слышал, пытался ответить, но получалось какое‑то бормотание.

Романов и Шорин шли по бокам. Они вели на аэродром самолет Белоброва. Белобров терял сознание, машина «клевала» то вправо, то влево. Напряжением воли Белобров открывал глаза, выравнивая горящий самолет.

– Саша! Саша! – уже без военного кода кричал по рации Шорин. – Саша! Я и Романов рядом с тобой! Идем домой! Все будет хорошо, Саша! Все будет хорошо!

Белобров вцепился в штурвал.

Горящий самолет с креном, без выпущенных шасси заходил на посадку.

От первого удара о землю – оторвался хвост. Поднимая тучи песка и пыли, самолет несколько раз повернулся вокруг собственной оси. Отовсюду бежали люди. Мчались скорая и пожарка. Пожарники обрушили на самолет потоки воды и под этими потоками вытащили сразу двоих: мертвого Белоброва и живого Черепца. Кабина штурмана была смята и горела. Звягинцева вытащили, когда уже начал рваться и стрелять боезапас.

– Он садился уже мертвым, – сказал Амираджиби про Белоброва.

Черепца перевязывали.

Санитарка медленно тронула с поля, рядом бежали летчики, техники, матросы. Трактор оттягивал со взлетной полосы догорающие остатки машины. Дом флота начал утренние передачи, и диктор объявил:

– Приказом начальника гарнизона с 6 часов утра в гарнизоне введена форма одежды № 3.

Голос мальчика:

«В субботу в бане был командирский день. Мы с отцом сидим в предбаннике, вымытые и распаренные, в чистых белых рубахах, и штопаем носки.

В предбанник заходят незнакомые летчики и знакомятся со мной. Они представляются – по званию или по фамилии, а если были молодые просто по имени.

Я же обязательно встаю, протягиваю руку и называю себя: „Игорь Гаврилов“.

Распахнулась дверь, и вошел незнакомый капитан административной службы. Я встал, но капитан, не раздеваясь, прошел мимо и, стоя в ботинках с галошами в белой мыльной воде, вдруг громко и пронзительно засвистел в два пальца. Капитан был в очках, в кителе с худыми высокими плечами, почерневшими от дождя.

– Полундра! – закричал он и опять засвистел.

Стало тихо‑тихо, открылась дверь из парной.

– Товарищи офицеры, – сказал капитан, – только что стало известно, что вернулся экипаж майора Плотникова из минно‑торпедного, – в бане его очки сразу запотели, он вытер их полой кителя и вдруг улыбнулся счастливой улыбкой».

Сверху из гарнизона по крутой скользкой дороге бежали люди. Их было очень много: в кителях, в куртках, регланах, в комбинезонах. Командующий и Зубов были уже здесь, курили, глядели на подходящий к берегу катер.

Забрызгав всех грязной водой, подкатил грузовик с летчиками. Катер ткнулся в причал, с него с грохотом стащили трап, и сразу все притихли так, что даже стал слышен топот санитаров. На первых носилках лежал Плотников. Никто почему‑то не ожидал носилок, все думали, что они сойдут сами.

Подполковника Курочкина, закутанного в одеяло, нес на руках матрос. Лицо у подполковника было маленькое, заросшее, очки были разбиты, он странно смущенно улыбался, что его несут на руках. А позади матрос нес его унты – страшные, черные, обвязанные какими‑то тряпочками и лыком.

Потом на носилках понесли Веселаго и Пялицына. Они лежали тихие и неподвижно смотрели в серое, сеющее на них дождем небо. Рядом с носилками Веселаго шел незнакомый молодой врач из морской пехоты в перепачканных глиной сапогах и, улыбаясь, что‑то говорил, говорил ему.

Отчаянно гудя, подлетел мотоцикл с коляской. Из него выскочила Настя Плотникова, растрепанная и в ночных туфлях, и тут же упала у мотоцикла. Ее подняли и побежали рядом с ней, почему‑то держа за локти. Она бежала, странно закидывая назад голову, и так же побежала рядом с носилками Плотникова до самой санитарной машины, которая пятилась назад, им навстречу.

– Товарищи офицеры, – кричал доктор Амираджиби из санитарной машины, – не давите на стекла… товарищи офицеры, или мне комендантский патруль вызывать?

– Боже мой, боже! – сказала уборщица из парикмахерской Киля. – Когда же это кончится! Сил нету, нету сил!..

Санитарка пошла в гору, и чем выше она поднималась, тем шире открывался залив.

Дни потекли за днями. Вся страна ждала победу. Здесь, на Севере, победа наступила внезапно. До последнего дня в море бродили немецкие подводные лодки, до последнего дня тонули наши суда и до последнего дня уходили в небо тяжелые торпедоносцы.

– Я счастлив, – крикнул командующий, и голос его сорвался. Он стоял на грузовике с откинутыми бортами перед длинным строем летчиков, техников, матросов. – Я счастлив, – повторил он, – что в годы войны партия и правительство поручили мне командовать такими людьми, как вы!

И он вдруг резко отвернулся и прижал к глазу кулак в черной кожаной перчатке. Командующий хотел говорить еще, но ничего не сказал, махнул рукой, оркестр заиграл «Все выше, и выше, и выше…», все закричали «Ура!», многие плакали.

– Скажи, – Гаврилов присел на корточки рядом с сыном, все лицо у него было залито слезами, – Игорешка, ну неужели ты не помнишь Лялю и Женю, ну, напрягись, мальчик…

В ангаре оркестр играл вальс. Было людно. Все обнимались, целовались, поздравляли друг друга с победой. Многие танцевали. Летчики принесли ящик с шампанским, его досталось каждому по капле, но все были веселы и кричали «ура!».

Среди танцующих бродил доктор Амираджиби. Лицо его было счастливым и мокрым от слез. Одной рукой он зажимал цинковую банку с витаминами, а другой запускал туда ложкой и под хохот требовал открыть рот и съесть витамины. При этом он все приговаривал:

– Без витаминов нельзя, без витаминов умрете.

– Теперь уже не умрем, теперь будем жить, – кричали ему в ответ, – будем жить!

С кораблей в воздух стреляли цветными ракетами. На аэродроме жгли ненужные теперь дымовые шашки.

У своей каптерки сидели Черепец и Артюхов с балалайкой. Артюхов бренчал, напевал и все смотрел на снег, на сопки, на залив.

Прощай, прощай

и не рыдай, не забывай,

не забывай!

Прощай, прощай!

Механики зачехлили самолеты. Под ногами вертелся Долдон. Кто‑то нарвал подснежников, и на шее у него висел красивый венок.

– Какое железо летело к черту в этой войне, а, мальчик?! – сказал доктор Амираджиби и постучал ложкой по искаженному винту самолета – какое железо… а, мальчик?!

Голос мальчика:

«Я сижу в кабине разбитого самолета и смотрю, как заходит снежный заряд, как он закрывает белым сопки, залив, далекие дома гарнизона, а потом и все остальное».

Ударила в бетон огненная струя – сорвался с места и начал разбег реактивный самолет. Бегут, мелькают плиты взлетной полосы. Одна за другой уходят в небо серебристые стрелы с подвешенными под крыльями ракетами. В штурманских и пилотских кабинах военные летчики морской авиации.

Уходят,

Уходят,

Уходят,

Уходят в небо самолеты…

…бренчит, играет балалайка.

Ах, прощай, прощай!

Не забывай,

Не забывай!..

###### КОНЕЦ